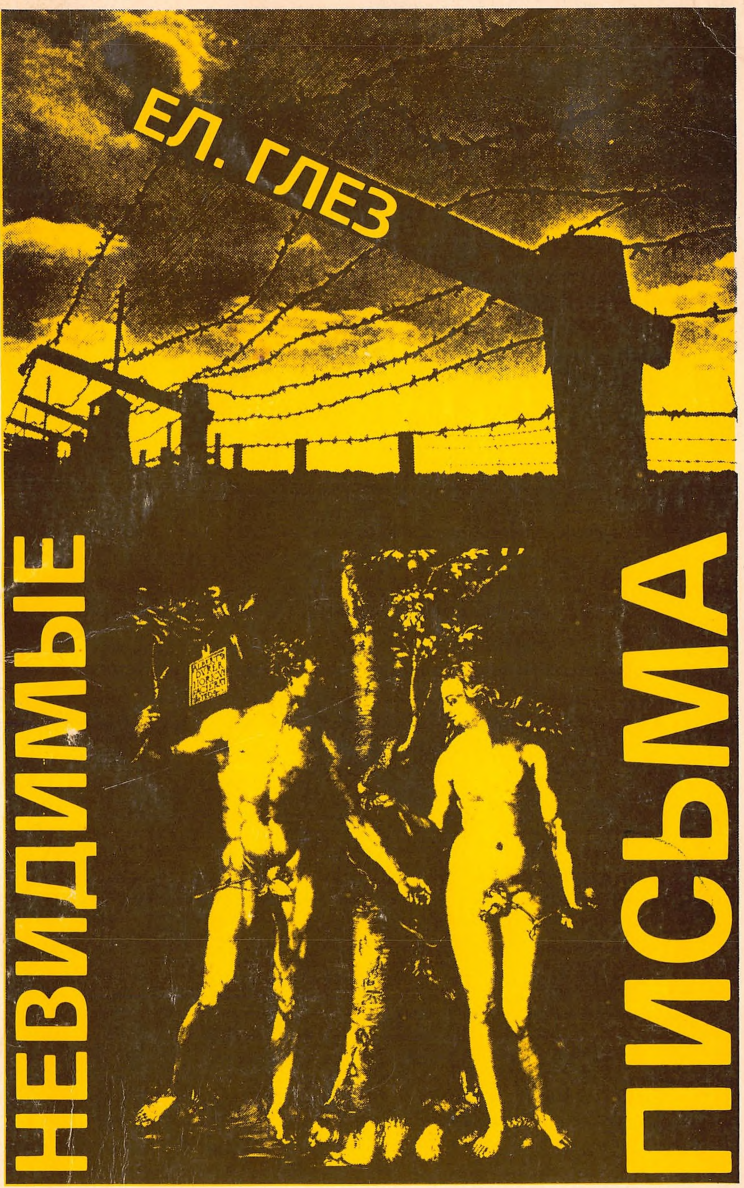


ЕЛ. ГЛЕЗ НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА



Ел.Глез

НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА

Нью-Йорк

1984

Eli Glez
Nevidimye pis'ma

Copyright by Eli Glez (Ilya Glezer), 1984

All rights reserved

Cover by Vagrich Bak hchanyan

Ел.Глез
Невидимые письма

Авторские права Ел.Глеза (Ильи Глезера) , 1984

Все права зарезервированы

Обложка Вагрича Бахчаняна

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЛЕФОРТОВСКИЕ СКАЗАНИЯ

Шершавая строка,
Натянутые струны
Надрезанный конверт,
Сочащаяся кровь.
И в бездну времени
Упали луны
И родились вновь...

Улица круто спадает и замирает, врезавшись в толпу, сгрудившуюся перед странным зданием ложно-классической архитектуры. Синагога... Лица ищущие, любопытствующие, потерянные, ждущие... В воздухе зимне-весеннем в сумерках парящих фиолетово-синих слышится: "Иди! Иди!" "Шесть метров в кусках на каждого человека..." "Пианино, ситец, а простыни льняные..." "А Веня ящик одеколona тройного упер..." "Письма..." "А в Тель-Авиве – влажно..." "Три месяца жду..." "Три года, шесть лет ему дали..." "Ему всего двадцать, а выпустили..." "Отказали, отказали, отказали..." "Завтра буду в Вене..." "Остия – барахляное место..." "Завтра..."

"Иди, слышишь, – иди!" Звучит Голос, разрывающий связи, прерывающий время, меняющий суть людскую. "Иди, иди!" Собирайся, рассеянный по лицу Земли, выбирайся из

каштановых закоулков Одессы, из московских подземок, из ленинградских белых ночей, из каменных колодцев Вильнюса и Риги, из вечно спящих городов Украины.

"Иди, иди — для твоей же пользы говорятся Слова!" "А сертификаты?" "А ты уже подал?" "Два ковра — два на полтора". Домой, домой, домой! А вдоль тротуаров — сгорбленные тени. Волочатся длинными хвостами. Следят, подстерегают, ждут... Домой — голова болит... "Иди — возвращайся к себе, возвращайся в себя!" "Господи, спасибо за ночи твои и дни!"

"Моше, Моше!" "Вот я!" Жирные московские тени мелькают и прячутся в арках домов. Звонко хрустят под ногами сосульки. Домой...

Темная фигура у подъезда. Кого-то ждут... "Тихо! Не хлопай дверью. Иди, иди для пользы твоей!" "Сними обувь свою — ибо место, где стоишь — Земля Святая!" Темные тени за окном. И навел Господь сон на человека.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

...Сейчас, наверное, очень поздно, но в камере нет часов, и мне трудно сориентироваться. Что-то около двух или трех. Вряд ли ты спишь и потому я не могу помешать тебе. Повернись набок, устройся поудобнее, положи под голову подушку повыше. Побеседуем? В камере под потолком, над тяжелой дверью, окованной листовым железом, ниша, забранная решеткой, и в ней, как в клетке, томится яркая, двухсотсвечовая лампа. В этом здесь не экономят. Ведь важно, чтобы тот, кто снаружи, кто бродит от одной камеры к другой, видел все, все до мельчайших подробностей. Желательно, чтобы и мысли были видны, а не только голый зад над унитазом, но это пока не во власти "друзей", устроивших погром в нашем обиталище сегодня утром. Они разбили аквариум, и вода выплеснула на пол рыбок, бивших в отчаянии хвостами по паркету у моих голых ступней. Я очень любил смотреть в этот стеклянно-водный мир. Мир, где от меня, от моих глаз невоз-

можно было скрыться, где все рыбы дела освещались яркой лампой. Стыжусь! И говорю всем: "Не заводите аквариумов, не пытайте рыб светом, дайте им жить в темных водах их мира!" Вот опять чуть слышно звякнул "глазок". Его тут называют "волчком". Закрыв глаза, я делаю вид, что сплю. Медленно отодвигается задвижка, и в щель заглядывает Некто. Его карий глаз шарит по всем углам. Затем Глаз застывает и внимательно изучает мое лицо. Может, это посланник Смерти, что в Пасхальную ночь обходит наши дома? На этот раз все кончилось благополучно, хоть и нет на притоке Знака, обозначающего дом иудейский. Волчок звякает и закрывается. Ну что ж, продолжим наш разговор до следующего посещения любопытного "ангела", пока его ищущий взгляд не пронизывает мой аквариум. Ты ведь не знаешь, как это все началось. Мне снова приснился этот проклятый сон с водой, текущей по острым камням, где я ползу между уступами и порогами. Глупая символика. Не люблю ясные сны. Но тут меня вынесло из ущелья на песок, на яркое солнце, а над головой весело задребезжала какая-то птичка. Поначалу это было приятно, но птичка дребезжала все громче и все настойчивей, пока я не понял, что это просто наш дверной звонок. Я, как был в плавках, прошлепал босиком и спросил: "Кто там?" Женский, и впрямь какой-то птичий, голос прощептал: "Телеграмма". В это время часы начали отбивать Время. Шесть утра. Я отворил. И Оно вкатилось в комнаты. Оно было многоглавое, в темных костюмах с галстуками. Без пальто, хоть на дворе зима. А может, уже весна? Нет, Оно было в чешуе — иссиня-черной, и шипело что-то невразумительное: "Где оружие?" Похоже было на продолжение этого нелепого сна. Но это был не сон. Ты вошла, и аквариум уже был разбит. А потом...

Не люблю чужих прикосновений. Пытка ездить в метро, утром в тесном вагоне, когда толпа обволакивает тебя и заталкивает в мешок своих еще не проснувшихся, но уже горячих тел, торопящихся делать Дело. Стремиться, выполнять, не выполнять, говорить, молчать, молчать, беспрерывно болтая. В это утро толпа не просто обволокла меня, она ходила

по мне, залезала внутрь, щупала мои мысли, читала их, швыряла прочитанное на пол. Она пролезала в тонкие конверты пластинок с музыкой, ее щупальцы влезали в корешки книг, пальцеобразные отростки водили по строчкам моих стихов, оставляли темные пятна на моих картинах, беспокойно смотревших со стен. Ее узкие глазки шарили по лицам дорогих мне людей, испуганно прятавшихся между листами фотоальбомов, она шелестела страницами записных книжек, и я почти слышал короткие гудки моего телефона, занятого в то утро, очень занятого и оглохшего. Утро, как утро. Не первый же я и не последний в этом мире, обожающем "Да" и не терпящем "Нет". С детства, с раннего детства — этот красный цвет плакатов и флагов. Кровь, выплеснутая на улицы, Кровь, бьющая и заливающая все. И этот постоянный гул, хор голосов, дудящих и требующих, чтобы все дудели в лад одно и то же. Кампания по сбору, борьба за... Словно спазмы сокращающейся кишки. Рвотно-кишечный мир. И тонкая блестящая фольга сверх-культуры, покрывающей это море помоев и крови. Не буду, не буду, не сердись. Я знаю, ты любишь Плисецкую, изысканную музыкально-балетную публику на "рыбных" представлениях, приятно щекочущую полуправду на Таганке... Блестящая пленка... Я помню, как она прорвалась. Тогда — в начале пятидесятых, в конце сороковых. И ты — это хорошо помнишь. "Хрустальные" ночи и дни, когда со всех страниц звучало одно слово. "Жид". Оно было украшено и одето в пристойную советскую оболочку — "Космополит". Но хор газет и радиоголосов ясно указывал, что враг скрывается под фамилиями, оканчивающимися на "ман", "гольд", "штейн" и под именами Абрам, Моисей, Исаак, Яков... Тонкая пленка Культуры прорвалась, и в кровавой луже утонули те, кто еще недавно сам был частью и гордостью этой пленки. И всплывают из памяти, и всплывают из кровавого месива прошлых лет имена — Михоэлс, Фефер, Квитко, Маркиш, Зускин. Белые халаты врачей грязными тряпками гнили в застенках Лубянки и Лефортова... И бараки уже были готовы, благо опыт по переселению и расселению накоплен: татары, чеченцы, немцы Поволжья... Как это удоб-

но, когда все говорят "Да"; ведь все это для общего блага, бескорыстно, для будущего, для светлого будущего. Пара миллиончиков, шесть миллиончиков, двадцать миллиончиков. Для общего блага полощутся красные знамена на Красной площади, у красного мавзолея. Цвет молодости — кровавый цвет. Опять звякнул волчок. На этот раз кто-то грубо работает. Лень, скучно. А есть артисты. Одна ментовка... прости, объясню. В тюрьме нет милиционеров, а есть "менты". Соответственно и дам называют непочтительно — ментовками. Так вот, одна ментовка отработала технику надзирания до тонкости. Она не открывает волчок, а, крадучись, чуть-чуть сдвигает задвижку и заглядывает... в щелку. Думаю, что это усовершенствование принесло ей массу почестей, вплоть до звания "Ударницы коммунистического труда". И она строит светлое коммунистическое общество, скромно, тихо рассматривая, как подозреваемые и подследственные отправляют свои естественные нужды, харкают, курят, раздеваются, скрипят зубами, тихо плачут и... надеются. Да... Я еще не надоел тебе? Может, тебе все-таки лучше заснуть? Ну, ладно, ладно не волнуйся, я не уйду из твоих мыслей. Что же было потом, когда две черные машины, визжа тормозами на поворотах и гоня на красные светофоры, привезли меня в некое здание, что рядом с известным гастрономом, где вся Москва и пол-России закупают дефицитную еду. Снова слились в единую драконью массу эти обыкновенные на вид люди со стертыми лицами, в одинаковых гражданских костюмах. Они провели меня через извилины коридоров и впихнули в комнату. Тут они снова рассыпались и уселись вокруг меня, изображая толпу в любительском спектакле. А за столом тихо сидел маленький рыжеватый человек с огромной лысиной, усиками и бородкой. Глаза у него были прозрачные, с тяжелыми нависшими веками. И цвет лица нездоровый — тюремный... Удивительно он мне кого-то напоминал. А над ним висел портрет кого-то неизвестного. Тоже рыжеватого, но без бородки и усиков, молодого, веснушчатого, с маленькими светлыми глазками. И еще не лысого. Да и лоб у этого, что на портрете, был пониже и поуже. Намного поуже. Может, прос-

то залысин еще не было. Что-то случилось с моим зрением. Нет: просто у меня почему-то отобрали очки. Оба — тот, что на портрете, и тот, что за столом, начали говорить враз о моих письмах властям предержащим, что-то об Основателе, что-то об отъезде в Израиль. Один из этих темнокостюнных отдал мне очки, и я обрел наконец реальный мир. Он был удивителен. За столом сидел тот молодой, которого я принял за портрет, а на стене, в рамке висел всем хорошо известный, с залысинами, которого мой следователь (пора наконец называть вещи своими именами) именовал почтительно и явно с прописной буквы: Основатель. Я и раньше смутно подозревал, что Зло стремится подражать Добру. Оно мимикрирует, берет внешнюю оболочку Добра и проникает в душу ничего не подозревающего человека. Высшее Духовное запрещено называть Его Именем. Нам и праотцам нашим был дан этот завет, и мы пронесли его через века изгнания и рассеяния. И вот сидит передо мной этот рыжеватый человечек и говорит, что и его земного идола нельзя называть именем собственным, а как Бога, — Основателем. И у самого этого человечка имя-то странное — Серафим. "И шестикрылый серафим на перепутье мне явился..." То ли это огненный посланец Господа, то ли просто из терафимов, что унесла праматерь наша Рахель из дома отца своего, из дома Лавана, унесла в наивной вере, что эти идольчики могут повредить мужу ее — Якову, защищенному Благословением Его. Длительно говорил Серафим-терафим; что-то невнятное отвечал я. А вокруг сидела массовка и смотрела отсутствующими глазами. Только через много часов допроса я понял, что хочет от меня терафим. Он спрашивал, обращался ли я прямо к Основателю с письмами, и если да, то это действие является преступным, ибо нельзя высказывать свое мнение в лицо Основателю, особенно если это мнение не вливается в общий дудящий хор. Опять подстановка, обвинение в святотатстве. Одевается Зло в блестящую пленку, обращается в шипящей драконий клубок, в святающееся яблоко и покачивается меж ветвями в ожидании восхищенных простаков.

Была полночь, когда терафимы посадили меня в темную закрытую машину и увезли куда-то. Я узнал мир своего дет-

ства. Старинный дворец екатерининского времени, Петровский гошпиталь, пруды, где мы плескались ребятишками, тихие пустынные улицы, такие необычные среди московской толчеи. Переулки замелькали у меня перед глазами, как осколки детства, а потом возникла Стена. Глухая. Я никогда ее не видел, хотя тысячу раз проходил мимо. Может быть, ее раньше не было? Но в ярком, пронзительном свете прожекторов было видно, что она тут уже десятилетия. Просто глаз мой не замечал Ее. Были вокруг дома, и среди домов она стояла тихая, притаившаяся, замаскированная под дом. Только теперь я увидел, что все окна в стене — фальшивые. Через много лет я приду к этой стене, я обязательно найду ее среди обычных домов. Или не найду, или снова пленка, блестящая пленка оденет Стену в прекрасное подобие дома для жилья?

Ну, спи, спи. До следующего бессонья...

Солнечный свет упал на траву. И произвела земля травы, и рассеялись семена по свету... Взял Господь среди всех семян особое, дал ему Закон и рассеял по всей земле. Что в тебе, избранник Господа? Лучше ли тело твое? Лучше ли руки твои? Крепче и быстрее ноги твои? Зорче ли глаза, чутче ли уши? И не пахнет ли кожа твоя потом, и не покрывается ли она пылью, как у других? Чисты ли мысли твои? Светлее ли помыслы твои?

Нет, нет печати избранности на телесных свойствах твоих. Что же избранного в тебе и за что ты избран? "Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные"... Есть ли разумный ответ?

Народ мой, Страна моя — маленькая и большая, ничтожная и Вечная, где, как в одной капле, сосредоточены все свойства Океана жизни и смерти, где на одном клочке земли, зажатом между морями, сконцентрированы все модели природы. Народ мой — избранный быть Великим грешником и великим Праведником. Вечная модель человеческой природы... Ты и лучше всех народов земли, ты и хуже их всех. Один ты — Единственный среди народов. И никогда ты не сольешься с другими, ибо не может слиться вода со ртутью, не может Свет стать тьмою, не может Египет стать Землей Обетованной...

Мир рассчитанных чувств,
Мир неизмеренной боли,
Где тот единственный куст,
Данный мне в дни неволи?

За сорок лет даже пустыня становится родным домом. Каждая тропинка в ней исхожена и истоптана. Камни ее, дикие и неприветливые, теплые от прикосновения солнца, песок ее, надоедливый и летучий, золотится на рассвете и голубеет под полночной луной. Вот следы чьей-то ноги на склоне дюны. "Куда идешь ты, Моше? Почему уходишь от народа своего? Разве не тебя избрал Господь? Разве не ты вел людей через безводные горы? Разве не тебе было дано творить Чудеса? Куда же ты теперь, когда совсем рядом Земля обетованная?" "Пустыня проросла через душу мою. Что я — народу в земле, текущей молоком и медом? Сыны сыновей и дочери дочерей идут, не оглядываясь на меня. Языка их я не понимаю. Сменили они не только одежды, но и обычаи свои. Странен и чужд им тот, кто вырвал корни из земли рабства и вывел отцов и матерей их в пустыню. "Дед, — спрашивают они, — зачем ты носишь такие странные браслеты на руках и ногах? Разве красивы эти ржавые кольца? Посмотри на наши золотые цепочки и серьги, что спускаются на загорелые груди и плечи!" Что ответить им? Как объяснить? Глаза, привыкшие к солнцу, не заметят тьмы, уши, привыкшие к грохоту, не услышат шелестенья трав. Устал я. И потому ухожу, растуруюсь в пустынном мареве, столбом пыли уношусь вдаль. Прощайте! И не ищите могилу мою"...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

...звяканье. Единственный звук, что слышен в Лефортовской тюрьме — звяканье ключей и шелестенье шагов, приглушенных коврами. Так и называют ее — следственный изолятор КГБ. Высоколобые мудрецы, что смотрят со столичных

фронтон и плакатов во время демонстраций, просветили нас: "Человек — существо общественное". Что ж, "теория проверяется практикой" (как указал Основатель). И устроили в старой екатерининской тюрьме, знаменитом Лефортовском центре пытку капающей тишиной, шептанием, одиночеством и страхом.

Два солдата, одетые в серые халаты, и женщина в белом деловито обыскали меня. Заставили раздеться. Когда я отказался, скрутили и надели наручники. Дама скромно стояла рядом, наблюдая, как с меня связанного снимают штаны. Когда сняли плавки, дама столь же профессионально раздвинула мои ягодицы и заглянула в задний проход. Когда-то я читал "Былое и думы" Герцена. Очень врезался в память его рассказ о жандармском офицере, что на безупречном французском языке попросил сидящего в камере Герцена вывернуть карманы. Герцену это показалось уродливым парадоксом: изысканный европейский лоск и выворачивание карманов. Что ж, и Россия имеет свои традиции. Правда, сейчас заглядывают не только в карманы, но и гораздо глубже, да и французский забыли...

Раскручивается тюремный день... Вот снова послышалось звяканье, но уже иного тона: везут обед. Грохочет тележка. Стук в "кормушку", она откидывается и толстая длань подает алюминиевую миску с темной жижей. Потом будет ложка каши — пшенной. Желтой, как цыплячий пух. Хоть какое-то оживление серой и коричневой гаммы Лефортова. Вымыта миска. Окончилось одно из главных событий лефортовского дня. Тихое позвякивание. Падает сердце: опять на допрос... Нет, мимо. Звяканье ключами, посвистыванье и прочие звуковые сигналы — это не забавы, а основа профессии тюремщика в изоляторе. Он конвоирует изолированного человека. И предупреждает об этом своих коллег. Ни в коем случае нельзя допустить встречу сидящих в Лефортове. Спешно хлопают уже открытые двери. Прячут людей в камеры, заставляют поворачиваться лицом к глухой стене, загоняют в первый попавшийся на пути закоулок. Идет великое звяканье. Все мы играем в прятки. Не все ли равно — мы прячем-

ся, нас ли прячут. Уже три часа. Наверное... Нет часов, не у кого спросить. Время в тюрьме — особая категория. Его чувствуешь, как живое существо. Иногда, шершавой змеей оно стремительно скользит сквозь узкие щели тюремных окон, одетых в намордники. Иногда несет тебя на мерно качающемся верблюжьем горбе, а чаще всего стоит, как вода в заросшем пруду. Вот и сейчас оно остановило свои упругие мышцы, улеглось мне на грудь и сказало, что пора обратиться к Нему.

Я не умею молиться вслух. Обращение, даже к человеку, всегда для меня — мука. Особенно с просьбой. Поэтому в синагоге меня обуревало страшное смущение при виде людей, изливающих в слова свои желания или славословия Ему. Сейчас, сидя на грубом тюремном одеяле, я приготавливаю карандаш и тетрадку. Я и к Нему пишу письма. Письма — молитвы. Я не помню традиционных слов утренней, дневной и вечерней молитв. Не вошли они в мою кровь с детства, да и некому было научить меня. Вот и пишу каждый день новую молитву. Сегодня она о тебе... Как странно, как нелогично обращаться к Тому, Кто так несоизмерим с тобой. Слышим ли мы голоса наших атомов? Но вот карандаш выводит мои полуграмотные каракули на иврите, и с души спадает проклятая лефортовская пелена, и я уже не слышу звяканья ключей и волчков, не замечаю зловонного выгиба унитаза, не чувствую сизой влажности тяжелого воздуха. Я не знаю, нужен ли я Ему, но мне Он необходим — Непостижимый, Внечувственный, Единственный в своей Единственности — Он, Любящий и Вбирающий меня, как Океан вбирает каплю, как Млечный путь — звезду, как Храм впускает нищего... "Излечивающий больных, Выпрямляющий горбатых, Воскрешающий мертвых"...

Время заполняет камеру, наваливается на меня смятой и скомканной грудой лет... Откидывается кормушка, и упитанная физиономия заявляет, что я нарушаю режим: был уже отбой. Этой ухмыляющейся маске лет двадцать. Время, время, — уж не Сатана ли изобрел тебя? Двадцать лет назад, когда я погружался в премудрости наук и искусства, когда я увлекался, изменял, ненавидел и любил, когда я уже был

целым Миром — родился маленький бессмысленный комочек, трогательный и беспомощный. Родился, чтобы через двадцать лет стать надзирателем. Я женился, а он только научился выговаривать первые слова, я написал книжку, а он только перешел в четвертый класс. Я — он, я — он... время соединило нас. Сколько требуется лет, чтобы стать палачом?

Спокойной ночи всем вам, родившимся в этот миг. Сколько среди вас тюремщиков?

Как ты? Кто из друзей пугает тебя телефонным звонком, кто осмеливается прийти?

Ревет бесшумно тишина,
И шепчет яростный поток,
Решетка черная окна
Над проседью
застывших строк...

Влажный луч утреннего солнца скользнул по траве. Зябко в лесу. Валежник пахнет зверем, проспавшим ночь и ушедшим в чащу. Никого нет. И все распахнуто и свободно. Камни еще не стали стенами, железо покоится в земле и еще не стало решеткой. Один, только один я во Вселенной. Создан вчера, слеппен из праха земного. Вот красная глина, что спадает мягкой складкой вдоль берега ручья. Видишь — вот место, где Некто зачерпнул ее, смешал с бурной, кипящей водой, вдохнул в нее Душу, — и назвал Человеком. Медленно ухожу я, отрываюсь от своей пуповины, и на глинистой отмели остаются только следы. Иду легкой походкой и еще не знаю, какой груз несу. Все во мне: кровавые убийцы и великие мученики, идиоты и гении, развратники и аскеты, гиганты и карлики, белокожие и черные, красные и желтые, болтливые и молчаливые, обвиняемые и обвинители... Все во мне. Но я еще не чувствую этого груза. И смерть еще не коснулась меня. Иду и называю — это зеленое и коричневое, шумящее и изломанное, называю его Древом. А это красное и круглое, что висит так высоко, назову Плодом. И впервые во Вселен-

ной во мне родилось Желание. Я взбираюсь по гладкому блестящему стволу, окрашиваю его кору кровью, ползу между дрожащих ветвей, вот рука моя касается Плода, но трещат под тяжестью моего тела ветви и я падаю, падаю в темный провал, в серо-коричневый мешок стен, в зловоние параш, в словесную паутину допросов...

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

...Звякнул, стукнул волчок, не таясь, а грубо и требовательно. Ясно. Сейчас откроется кормушка, и та же физиономия интимно спросит прокуренным шепотом: "Фамилие? Име? Отечество?" Распахнется толстая дверь, и конвойный прикажет: "Руки за спину! — К следователю!" У Лефортова интересная архитектура: все камеры выходят на галереи, охватывающие своими крыльями внутренние стены. Между галереями висят сетки, разделяющие этажи. Наверное, кто-то когда-то пытался прыгнуть вниз в пролет. Иду привычным маршрутом по колеблющимся стальным плитам, покрытым ковровой дорожкой. Мимо камер, молчаливо следящих за мной своими круглыми глазами. К одному из волчков прилепился всем лицом, прильнул к дверям всем своим тощим телом, засунутым в мундир, долговязый мент. По затылку, по спине я вижу, как он пьет чужую жизнь, влекущуюся тюремным законом. Мелькает детское воспоминание: мрачный, нахохлившийся шимпанзе в клетке и я, прильнувший к сетке и с любопытством впитывающий почти человеческую жизнь. Долговязый, услышав приближающееся шествие, резко откидывается и отходит к перилам. Удивительно, — у него смущенная физиономия. Или мне показалось? Наверное, и на него действует общепринятое суждение, что подсматривать в замочную скважину — занятие постыдное и более того — извращенное, свойственное тем, кто паразитирует на чужой жизни, не имея своей. Нет, все-таки показалось. Он подходит к следующей камере и профессионально запускает свой прозрачный, серо-белесоватый взгляд в мутное стекло

волчка. "Ну и что? Это ведь работа. Да и любопытно, как они там колготятся". Снова в памяти мелькает кадр: сквозь строй обмундированных, откормленных прямоходящих человекоподобных — серые тела, идущие в разверстые пасти газовых камер. "Ну и что? Это ведь работа"... Теперь налево через мостик, висящий над пропастью пролета, затянутого сеткой. Перехожу на другую сторону, где двери камер приоткрыты. Наверное, вывели на прогулку. Из одной камеры тянет свежим калом. Слышу недовольно-презрительное хмыканье за спиной. Не нравится моему менту запах. Что сделать? Работа такая. Большую часть своей жизни проводит он в многоэтажном сортире. Ведь каждая камера, в сущности, просто туалет, где заключенные еще и спят, едят, боятся, ожидают, курят, ненавидят, живут. От мента исходит тяжелый аромат цветочного одеколона. На этот раз "Сирень". Как я понял во время "прогулок" к следователю, конвойные получают одеколон, как работающие на вредном производстве — молоко. Нельзя же вернуться домой с работы в сортире без предварительной "отдушки". Волны сортирного запаха и одеколona смешиваются в одну тошнотворную гамму лефтортовской "Шанели". Прямо, прямо по упруго дрожащим стальным плитам. Конвойный обгоняет меня и приказывает остановиться. Гремят ключи, открывается в стене небольшая узкая дверь. Вхожу — и оказываюсь в ином мире. Мягкий свет дневных ламп, стены, отделанные деревянными панелями под орех, пушистый светло-коричневый ковер, запах свежесваренного кофе и хорошего табака. Министерские двери, обитые кожей. Надписи на дверях: "Следователь", "Старший следователь", "Следователь по особо важным делам"... Мир обвинителей, исследующих, устанавливающих, определяющих, постановляющих. Навстречу движется некто в хорошо сшитом костюме, со стертой физиономией без примет, гладкий зачес, прямой как стрела пробор, острый, запоминающийся взгляд. Некто исчезает за какой-то из дверей, обменявшись невнятным приветствием с конвойным. Мои ноздри, натренированные за долгие месяцы, улавливают сытый запах сигареты, морозного утра, хрустящего снега. Маленькая капля не-

зарешеченного мира блестит грязноватой лужицей на паркете, занесенная сюда утепленным ботинком следователя. Он шел, наверное, через заснеженный парк, по извитым аллеям, притихшим после метелистой ночи. Шел после утреннего застольного разговора с женой, условившись взять ребенка из детского сада, или обещав взять билеты в кино, или... Шел, прожевав мягкий теплый "Бородинский", запитый свежим "Цейлонским". Шел на работу, привычно перебирая в памяти все приемы психологического насилия, шел, потрескивая костяшками сухих пальцев, как пианист перед концертом, как хирург перед операцией... "Начать с любезности. Он, кажется, из шибко интеллигентных. Такие не могут устоять перед вежливой улыбкой. Ну разве вы преступник? Конечно, это недоумение. Все разъяснится. Только искренне и честно расскажите следствию о своих опасных мыслях, связях, замыслах... Потихоньку раздеть его. Душевно, мягко припугнуть особыми мерами допроса, намекнуть, что мы и так все знаем, а чистосердечное признание — только на пользу ему. Не нам. Будет упрямыться — тогда другой ход, эти интеллигентки страшно чувствительны к вопросам личного свойства: что это за женщина, да как это можно с замужней? Придется вызвать ее на допрос, а заодно и ее мужа. Он ведь, кажется, ваш приятель? Не забыть допросить бывшую жену. Может дать ценный материал. Женщины мстительны... Да, предложить написать статейку с самоизбиением, обещать свободу, если откажется от мысли об эмиграции в Израиль. Немножко скучновато вести дело, когда и так ясно, что этому молодцу назначено шесть лет. Вчера пришло постановление, подписанное там, в партийных небесах. Но нужно же все это оформить по закону. На прежней работе, с уголовниками, было занятней. Действительно, следствие: убил — не убил, воровал — не воровал. Улики, свидетели. А тут — что думал, как думал, кому написал, что написал. Психология, и в морду не двинешь. КГБ, все-таки. И шеф предупреждал, чтобы тонко работали, не по-бериевски, без хрустения суставов и подгорелого мяса, но чтобы мысли выворачивать наизнанку, раскалывать их до жопы". Хрустит снег, шевелятся мысли под

пыжиковой дефицитной шапкой, полученной в распределителе для сотрудников КГБ. Идет на работу следователь по старому московскому парку, на простую обычную работу, как тысячи других строителей светлого будущего. И тянется рядом с ним темная тень, старая, как средневековые, привычная тень Инквизиции...

"...установил, что подследственный имярек изготовил и отослал письмо в адрес Генерального Секретаря, где в оскорбительных и недопустимых выражениях излагал свои антисоветские и сионистские настроения..."; "установил, что подследственный имярек изготовил и отослал в центральные газеты документ, где в недопустимых и оскорбительных выражениях отзывался о деятельности Основателя партии и государства".

У паука рыжий взгляд, он сидит в углу и поблескивает им. Глупая муха, куда ты ползешь? Это же паутина! "У вас, кажется, есть дочь? Сколько ей? Можете молчать, мы и так знаем — пятнадцать. Моей, между прочим, десять. Да, быстро растут дети. Особенно девочки, так быстро созревают. Акселерация. Вчера мой знакомый следователь с Петровки рассказывал — пятнадцатилетнюю девочку изнасиловали, убили... До сих пор не раскрыто. МВД — это ведь не мы. Они ничего не могут. А мы все можем". Глаза многозначительно моргают. Рыжий взгляд паука...

"Вам предъявляется показание вашей бывшей супруги... Семь лет назад, в апреле, такого-то числа мой бывший муж высказывал злобные антисоветские взгляды. Он всегда был оголтелым сионистом..."

Колеблются плиты стальной галереи. Сортирный туман клубится под высоким потолком. Гостеприимно открывается толстая дверь камеры. Вот я и дома. На столе плошка с остывшей кашей. Постель смята и сброшена на пол. Был обыск. Скоро отбой. Блеск волчка. Спать, спать, спать.

Я расскажу тебе, но завтра, все расскажу. Чистосердечно признаюсь в своей вине пред Ним...

Там за желтым холмом
На ладони волнистой пустыни
Дом и оливы мои...

Колеблется свет пламени. Тени скрестили копыта и стрелы на стенах и полах. "Зачем упрямись ты? Почему не проклянешь Того, что послал тебя на муку?" — "Видишь — вот огромная рука, вот когти ее сдирают с тебя кожу, мясо блестит и сочится кровью, покрывается гноем и струпом. И это твой милосердный Бог?!" Шепчут, шепчут черные тени. Пляшут насмешливо и задорно. "По телу твоему ползают черви. Они копошатся и высасывают твою жизнь. Почему ты не избавишься от них? В чем твоя вина? Ты убил? Ты украл? Ты пустил по миру? Ты соблазнил? Ты солгал? Тысячи тысяч виновнее тебя в тысячу тысяч раз и идут по миру, идут, топчя его и не ведая мук и страданий. Так скажи, скажи, дурень, только одно слово, откажись, откажись от себя и от прилепившихся к твоей коже пыток!!" ...Замерли в ожидании тени и услышали — "Нет! Есмь я и тем виновен. Создан совершенным и свободным для добра, но дышу и желаю, изменяюсь и изменяю. Каждый шаг мой в сторону зла. И не хочу я быть иным. Кровь и гной мои, мясо и кости мои дробятся и превращаются в прах. Но берет Он и снова лепит меня. Душа оживляет каменную куклу. Золотится шелковая кожа на солнце, влажные губы открыты ветру. Поднимаюсь, иду, и тени расступаются передо мной..."

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

...сокамерники. Я в новой камере. Это грандиозное событие в тюремной жизни. Почти переход в мир иной, почти путешествие к антиподам. Утром пришел мент, засунул голову в кормушку, спросил, как всегда, соблюдая предписанную формулу: "Кто? Когда родился? Какая статья предъявлена?" А потом вдруг сказал праздничным голосом: "Собратся с вещами!" Ухожу, покидаю насиженное гнездо. Колотится серд-

це надеждой: "А вдруг освободят?.." Переход, перевод в тюрьме, в лагере или ссылке — это всегда игра с будущим, с неизвестным. Вдруг случится чудо, вдруг исчезнет решетка на окне, вдруг заплещется вода посреди зеленого поля, вдруг ляжет снег на черные лапы ели, вдруг... Я иду впереди конвойного с охапкой вещей в широко растопыренных руках: матрас, постельное белье, подушка, тяжелое солдатское одеяло, книжки, пальто. Снова меня поражает архитектура Лефортова. Галереи, словно крылья летучей мыши, паутина сеток, едва льющийся откуда-то сверху свет.

Гремят ключи. Новая камера, но я уже в ней не один. Черные, лихорадочно блестящие глаза, казалось, не только раздевали меня. Они пытались заглянуть в тайное тайных, проникнуть под кожу, раздвинуть мышцы, они ввинчивались в мозг, задавая бесчисленные безмолвные вопросы. Они сидели в глубоких орбитах под иссиня-черными густыми бровями. И временами прятались за тяжелыми нависающими складками век. Все это оптическое хозяйство принадлежало голому по пояс человеку, который вдруг принялся невозмутимо отжиматься от пола, демонстрируя феноменально развитые мышцы спины и плеч. Я несколько обалдело взирал на эту мышечную вакханалию, столь необычную здесь, в Лефортове. Присутствие другого человека в камере было не только странным, но почти оскорбительным. Как на грех, мне понадобился унитаз, у подножия коего как раз мерно качалась голова методично отжимающегося суперзэка. Он встал и низким басом произнес: "Гриша". По-видимому, это было официальное представление, поэтому я пробормотал свое имя и протянул руку, Гриша пожал ее, а затем как-то суетливо подскочил к моему пальто, которое я успел повесить на полагающийся мне крючок. Словно собака, он торопливо обнюхал подкладку и пророкотал: "Здорово, свободой пахнет!.."

Симпатичный человек — этот Гриша. У него странный рот: верхняя губа — пухлая, чувственная, черно-красная, а нижней — почти нет. Кажется, кто-то провел углем черту, отделяя подбородок от рта. Этот рот непрерывно что-то говорит. Иног-

да я не слышу и только вижу, как шевелится, пляшет верхняя пухлая губа над неподвижной и суровой нижней. Когда долго сидишь в одиночке, погруженной в молчание, когда только мысли говорят с тобой, вторжение чужой речи словно хлыст. Шевелится верхняя губа, течет рассказ Гриши. Я слушаю его, впитывая каждое слово и веря ему. Что может быть прекраснее первого вечера человеческого знакомства! Люди сближаются, мысли протянуты словно руки и ощупывают друг друга. Острый холодок опасности веет от них. Еще нет скуки от бесконечных повторений: откуда взяться новому в замкнутом пространстве? Еще нет терпкой ненависти к тому, что уже познано и навязло в зубах, к мелким привычкам человека, случайного попутчика на долгом пути.

“..Ну, выгнали меня из армии. Может, и правильно сделали. Пил много. Да и женщины...” Тут он длинно и со вкусом рассказал о своих похождениях, явно переживая почти физически все, включая бесчисленные оргазмы, постельные забавы искушенных дам и не менее искушенных офицеров, изнывающих в глухих сибирских гарнизонах от безделья и бессмыслицы. Было, конечно, и классическое выпрыгивание из окна в нижнем белье при внезапном возвращении мужа. “А мы с ней уже десятый раз кончаем...” При этом Гриша потягивался, играл мышцами обнаженного торса и шумно вздыхал. “И вопросы я любил задавать на политбеседах. Я ведь профессионал-военный. Мне бы туда, за рубеж... Всю жизнь мечтал в зеленых беретах походить. Да, как наемный солдат. Почему бы нет? Мы ведь тоже часть цивилизации. Художник картину нарисовал и продал все-таки. А чем мое искусство хуже? Сыграл талантливо в военные шахматы — и подставляй карман... Платили бы мне, так я любого Ганнибала и Суворова за пояс заткнул бы! Я бы им такое “искусство убивать” показал...”

Выгнали все-таки, сволочи, меня. А батальон мой был образцовый. Ни одного отказа от прыжков. Десантники — молодые, зеленые, все боятся и в первый и в двадцатый раз прыгать. Посмотришь вниз, а там ван-гоговский пейзаж. Ей-Богу. Но в первый раз, конечно, голова малость кружится и

реакция собачья — хочется хвост поджать и под лавку забиться. Некоторых я просто из самолета выкидывал. Там же автоматический парашют. Ноги два раза ломал. Самый опытный, и то не уберется. Не для этой стихии мы приспособлены. То есть не для полета. А так — шагать по тверди земной. Мир хватать за грудь. Щупать его, как бабу”. Гриша шурился на яркий свет зарешеченной лампы, ощеривал редкие, мелковатые зубы и, внезапно поднявшись с койки, промаршировал вдоль единственного узкого прохода между нашими койками и, улегшись на пол, вновь принялся ритмично отжиматься, считая при этом вслух. Вернувшись в прежнее положение, он улегся поудобнее и, лениво выматерив мента, звякнувшего в это время заслонкой волчка, продолжал: ”Поехали мы однажды в соседний поселок за водкой. На танке, ну это по-вашему танк, а по-нашему вездеход. Ну, видел на парадах, — с шестью колесами, весь закрытый? Я как был в полевой форме в магазин влез. А там очередь. Ну, нашелся один тоже забулдыга. Вместе выпивали. Начал он пиздеть. А я под газом был уже. Сгоряча и поранул его. У меня на поясе, как назло, клинок висел. Хорошо, не убил. Еле дело замяли. Год сидел под следствием. Потом отпустили, но из армии выгнали. А это понять нужно. Вот ты без своей науки тут скисаешь, а я без войны не могу. Нет у меня за душой больше ничего. Да... уехал на Украину. Я ведь оттуда, из самостийников. Из Западной, освобожденной... Домишко свой от родителей остался. А так больше никого. Либо убиты, либо на Запад подались. Вспомнилось тогда то, что во всех анкетах скрывал. Сестра родная вышла замуж за полиция еще при немцах и с ним вместе утнула. В Канаду. Через всякие международные бюро разыскал ее. Стали письма приходить, посылки. Тряпки — шмотки. И, между прочим, неплохие. А зло во мне кипело тогда. Попросился в гости к ней, через ОВИР. Во Львов ездил. Не разрешили. Как же, десантник! Пограничник! Вспомнили, что я профессионал. А я, если бы пустили, ни в какую бы Канаду не поехал. Прямым ходом в Африку — черножопых стрелять. Лумумбу с Мобуту вместе. Тогда я и решился. Тут еще от сестры подруга приехала. Жен-

щина. Кожа — Шанель номер пять. Трусы стал с нее стягивать, а они, как паутина. Все, как на ладони. Каждый волосок... Деньжата у меня всякие появились. Следовательно мне фотографии наши с ней показывал. Они, суки, уже тогда за мной следили. Даже в постели нас сняли. Поглядеть приятно. Я так следовательно и сказал, а он, козел, хохочет. Укатила моя ласточка обратно в Канаду к нашим националистам. И тут я уже точно знал: сбегу я от них, от кагебешников вонючих...”

Рожденные молчать
Рожденные мечтать
Рожденные покинуть мир
И где-то там опять начать
Духовный жизни пир...

Держал Давид крошку Авессалома на руках своих. Молочно-душиста кожа его. Блестят веселым светом синие окна глаз его. Розовая полоса губ смята в усмешке. Мягкие пальцы его копошатся в густой чаще бороды отца и звучит в весеннем воздухе Изреельской долины голубиное воркование младенца.

Держал Давид на руках своих Авессалома-юношу. Пахнет остывающее тело его потом, кровь запеклась в углах плотно сжатых губ. В проволоке волос запутались сучья, и мертвые глаза смотрят сквозь сереющие ставни век.

Занес Авраам нож над Исааком и не мог опустить его. Воздух сгустился в камень и вырвал убийственный металл из Авраамовых рук. Занес Давид над Авессаломом меч и ждал Чуда. Но не свершилось оно. И поразило прошлое, поразило свое семя, растерзало свое будущее и развеяло его по ветру. Затем ли родилось оно на свет, чтобы стать кровавым драконом? Почему дряхлая кровь должна проливать молодую? Давид, Давид, может быть, тебе, а не ему нужно было погибнуть? Может быть, древо Израиля произросло бы тогда иначе? И не рассеял нас Господь по лику Земли?

И не было бы семисот жен и наложниц без числа у Когелета-Шломо? И наследников-идиотов, растопыривших свои неуклюжие члены в нашем доме? И ушла бы кровь из дома Давида и не потянулась череда убиенных по плитам Яд Вашема...

ПИСЬМО ПЯТОЕ

...бесконечная новелла. Он рассказывал часами, и речь его, то басовито-шепчущая, то фальцетно-скороговорчатая будоражила меня. На облупленных, пропитанных многолетними водами стенах нашей камеры возникали и исчезали образы. Скользили и ползли тени, горел костер. Человек в меховом комбинезоне припадал и примерзал к лунно-голубому насту, ожидая, пока очередной дозор протопает над ним по карнизу нависающей скалы. Всего в двух шагах, всего на расстоянии протянутой руки, так что пар изо рта доносил запах табака... Лыжи, смоченные особым составом и подбитые камусом, скользили от одной границы к другой. Скручивались крутой лентой километры: Польша, Чехословакия, Карпаты, Татры. Таинственные незнакомки прилетали из Канады и, ложась в постель с моим сокамерником, извлекали из интимных уголков и складок прекрасного тела то слитки золота, то бриллианты, то зашифрованные карты. Вся нескончаемая череда этих дам была длинноногой, страстной и сексуально ненасытной. Но, конечно же, мой супербеглец Гриша тоже был секс-атлетом. Рассказывая, он возбуждался, смаковал и казался мне рогатым сатиром, неизвестно почему сбежавшим с картины Рубенса и разлегшимся в изящной и вычурной позе на серых тюремных простынях Лефортова. Его бесконечная авантюрная сага прерывалась только вызовами на допрос. Обычно его уводили раньше меня и приводили намного позже, почему-то потного, размякшего, переполненного странной злобностью. Он тут же начинал маршировать по камере и отжиматься, перемежая эти быстрые, как бы военные движения тягучим рокочущим матом. Больше всего мне нравилось выражение "КГБ-ня вонючая". Из его отрывочного бормотания я понимал, что и в тюрьме он продолжает быть супер-экстра-

сверхчеловеком. Расколоть его никто и никогда не сможет, а уж про специальную куртку с вышитой на подкладке картой ни один следователь не дознается. И он показывал в сторону волчка большой волосатый кукиш. Карта, как я выяснил из его рассказов, была у него особенной. Она содержала мельчайшие подробности сказочного маршрута через Польшу в Чехию и, наконец, в долгожданную Австрию. Многочисленные заставы пограничников были не в силах остановить Гришу, но... злой рок, принявший облик красавицы-чешки, подкосил моего (и его) героя. Она была националисткой и диссиденткой. В постели она извивалась, как кобра, и выла, как гиена. Мой сокамерник встретил ее в Праге, когда Чехословакия, уже изнасилованная "старшим братом", стыдливо куталась в разорванные лохмотья Пражской весны. Конечно же, Гриша не смог устоять ни перед округлым задом диссидентки, ни перед ее мольбами об освобождении из-под русско-советского ига. Итак, в последний этап своей одиссеи Гриша пустился вместе с "бабой". Пистолет бескорыстный Гриша положил почему-то в изящную дамскую сумочку чешки. И вот наступил долгожданный миг освобождения, когда Гриша, сопровождаемый чешкой, вступил в пограничную полосу. Вдали, по ту сторону железного занавеса, мелькали роскошные лимузины, и женщина в красных брюках призывно махала руками (так было условлено во время свиданий с канадскими дивами). Но... в этот миг пограничники с двумя овчарками накинулись на беглецов. Мощной дланью мой герой задушил повисшую у него на локте собаку, а другой переломил плечо пограничнику. А что же диссидентка? Она стояла, застыв от страха, зажав в руках сумочку с револьвером. И женщина в красных брюках по ту сторону границы напрасно продолжала махать руками. И напрасно лимузин ждал на обочине шоссе. Дальше все ясно: второй пограничник дал очередь по ногам Гриши, ну, а затем — допросы-избиения, пока "сама Москва" не истребовала героя, обманувшего несколько погранзастав. ("Сколько звезд с погон полетело!") И вот уже два года, как идет следствие. КГБ снимает учебный фильм, а впереди маячит долгий срок казенного дома.

Все это излагалось мне долгими ночами и вечерами, басовитым шепотом, гулко отдававшимся в лефортовской камере. Я смотрел, слушал и наслаждался устными новеллами почти полторы недели. И успел почти поверить и даже привязаться к сатиropодобному Грише. Он был приятен, внимателен, даже тонок и, несомненно, чуток, что в тюремных условиях — необходимое качество для сосуществования насильственно запертых вместе людей. И все же... Его чрезмерная чуткость и внимательность, его мгновенная реакция на мои мысли вслух и движения по камере заставили меня насторожиться. Чем-то странным и знакомым веяло от его детективов и порнографической лирики. Как именно, я не мог понять, но вдруг открылось передо мной черное око в другой мир, и я почувствовал, что Гриша и его рассказы часть этого чуждого и опасного мира. Они были словно длинный мягкий шуп, направленный в мою испуганную и смятенную душу. Все — его бас, его самообнажение, доверчивые прикосновения, хитросплетения новелл, все было рассчитано на мое одиночество, на мою потребность в исповеди. Он пускал фейерверки и ожидал, что и я, увлеченный потребностью быть ответным эхом, откроюсь, обнажусь и вывернусь наизнанку. Он ждал, когда откроется тонкая раковина и мягкие шупальца моей души сами устремятся в эту ждущую и истекающую слюной пасть, прикрытую до времени изгибом губ. Глаза его, влажные от нетерпения, провожали меня во время моих медленных блужданий по камере (три шага туда и обратно). Он ждал, затем потерял терпение и начал задавать вопросы. Сначала осторожные, затем все более прямые. Наконец, настал день, когда в ответ на мой довольно нудный рассказ о злосчастных письмах "антисоветского и просионистского" содержания, Гриша вдруг заявил "на месте твоего следователя ни за что не поверил бы, что это ты сам все сочинил, да еще решился посылать туда". И он ткнул пальцем в грязный потолок, с которого свешивались серые лохмотья табачного пепла.

Эта простая фраза проникла в мой взбудораженный мозг и зажгла в нем узор — на миг возникли и пропали женские

ноги, камусовые лыжи, пограничники, овчарки, потный, размякший Гриша после допроса. Все это мелькнуло и исчезло, а на стене камеры пунктирным силуэтом возникла тень моего Серафима, моего терафима, моего следователя, пытавшегося именно в этот день что-то узнать о моих друзьях, связях, привязанностях... Ночью сквозь жаркий порнографический шепот Гриши я почувствовал явственный запах коньяка. А назавтра мой следователь, сощутив и без того узкие рыжие глазки, даже не прошипел, а как-то просвистел: "А ведете вы себя как опытный рецидивист... Не поднимайте так брови; вы меня прекрасно понимаете". Вернувшись с допроса, я застал свою камеру осиротевшей. Испарились из нее слитки золота, мускусные дамы, мускулистые героини, горные снега и ночные пражские бары... Ушли они, чтобы никогда не вернуться. По каким камерам они бродят теперь? Какую душу уловляют? Но это уже другая история и другое письмо. А пока — пора и на боковую. Как ты там? Мне бы хоть треть твоей душевной силы...

Безумных мудрецов загадочные мысли
растоптаны и прокляты толпой.

Но в волнах времени исчезнут толпы
и только искры слов святых останутся навечно...

На синих ладонях неба покоятся ослепительные облака. Раной зияющей застыло в зените солнце. Ни ветра, ни звука. Сушь. Курчавятся остатки кустарника, а кругом, куда ни кинешь взгляд, желто-фиолетовые холмы. "Что ты делаешь, Ной, в такую жару? Все соседи спят в шатрах, выжидая, когда спадет зной и спасительный ветер принесет вечернюю прохладу. Отчего же ты не даешь никому покоя? Сыновей и невесток своих загонял безумный старец. Заставляет строить их какой-то странный деревянный шатер. Работников своих разослал повсюду, и ловят они зверей и гадов, насекомых и червей, ростки трав и деревьев собирают. Рыком зверей, стоном и мычанием полны окрестности. Зачем ты смущаешь людей

бреднями о близком конце мира? Ты безумец и ввергаешь в безумие близких твоих. Посмотрите, посмотрите на этого мореплавателя! На суше выстроил он ковчег, по песку поползет он, зароется в пыльные холмы, утонет в тучах пыли. И дети хохочут над тобой и играют в ковчеге. Пора, пора всерьез заняться тобой, Ной, нечего тебе позорить наше племя. Вот соберутся старшие рода и решат, как лечить твою болезнь: железом ли каленым, бичеванием или изгнанием. В пустыне окончишь ты свои дни, начатые в славе и трудах... И сгниет твой ковчег, памятник безумию твоему, и звери невинные разбегутся по лесам и полям, выпущенные на долгожданную свободу из клеток ковчега. Завтра же, завтра нужно покончить с ним, дабы не поразили стрелы его безумия остальных". Ночью тихо запел ветер, а утром не было более тверди земной. Плескалась повсюду желтая вода, полоща грязно-белые тряпки шатров. И вдали на горизонте покачивался под серым небом, под нескончаемым дождем Ковчег...

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

..."Теперь вы не обвиняемый, а пациент!" — заявил мне тощий субъект в белом халате, оказавшийся дежурным врачом Психиатрического Института им.Сербского, куда меня отправил мой Серафим-терафим, мой рыжеглазый следователь. Процедура направления оказалась на редкость простой. После очередного допроса, поигрывая коробкой спичек, Серафим заявил: "Мы решили направить вас на психиатрическую экспертизу" — "???" — эти многочисленные знаки вопроса выразила моя небритая физиономия. Но я не произнес ни слова. Серафим же продолжал: "Ваше психическое состояние, по моему убеждению, не соответствует нормам нашей жизни, а потому я просто обязан проверить его с помощью специалистов, согласно статье номер..." Тут он осклабился и, растягивая слова, произнес: "Тем более что эти специалисты ваши бывшие коллеги, кажется?" Да, конечно, коллеги. Ведь восемь не лучших лет моей жизни я работал на

бесплодной ниве психиатрии, ты же помнишь, что это были за годы... Рокочущие самоуверенные голоса "коллег", облакавших банальные мысли в вычурную вязь условного жаргона, прокисший запах палат, вялодвигающиеся люди, оглушенные нейролептиками, плотно затянутые решетками окна, запертые на ключ двери... И все это пропитано было человеческим страхом, страхом перед неисправимым клеймом: "психически больной". Коллеги ставили друг другу диагнозы: "Шизофреник, но толковый малый". "О чем ты говоришь с этим параноиком?" "Коллеги" — зачарованные собственными словами и не умевшие отличить воспаления легких от гриппа, инфаркта от поноса. Где-то там шла жизнь, пересаживали сердце, находили вирусы в злокачественных опухолях, реанимировали, а тут зловеще-схоластической игрой определяли психическую норму. Раскладывали пасьянс из человеческих черт и привычек, и когда он случайно совпадал с действительностью, чувствовали себя на уровне Бога. И над всей этой средневековой психиатрической корпорацией нависло искаженное глубокими носогубными складками лицо Главного психиатра Снежневского, — наделенного высшими полномочиями и проводившего дни и ночи в поисках все более совершенного психиатрического прокрустова ложа, куда бы можно было запихать все человечество. В его кабинете мне всегда чудился большой, только что сложенный костер, черные клобуки на головах жертв, чью душу призвана была спасать Психиатрическая Инквизиция. Да... Коллеги... Дальше все было просто: в узком металлическом стакане воронка двое солдат довели меня по апрельским улицам Москвы до обширного здания, что раздвинуло свои плечи между бонбоньерками старинных дворянских и купеческих особнячков Волхонки. Я слышал знакомые звоночки трамваев, шипение шин троллейбусов и такси, где-то в пятнадцати минутах езды отсюда (на метро без пересадки) ты бродила по кухне, и прислушивалась, и ждала... И предстал я перед коллегами в серой нательной рубашке, пропахший запахами Лефортова, с руками, охваченными стальными кольцами наручников. Я не видел их лиц, только белые пятна и черные рты. Одни из

них явно скучали, другие были заинтригованы пикантной ситуацией. Наконец, главный из них, конечно, собрат по крови — небезызвестный Лунц, спросил: "А какой диагноз вы себе сами можете поставить?" Они мыслили о человеческой душе только диагнозами, прогнозами, ремиссиями, обострениями... Весь мир — большой сумасшедший дом, и они в нем единственные нормальные люди. "Ну, действительно, разве может в нашем, советском мире, в этом средоточии мироздания, нормальный человек написать письмо Главе партии и правительства и выразить возмущение его политикой? Это же паранояльно-казуально-иллюзорный синдром на фоне измененной модальности не только мышления, но и чувствования, что близко по своей картине к онейроидному помрачению сознания при депрессивно-парафреническом ступорозном варианте течения болезни".

Короче говоря, меня увезли обратно в Лефортово с тем, чтобы через две недели снова вернуть на "исследование" в Институт Сербского, так как психо-инквизиционная комиссия сочла мой случай очень сложным, а потому нуждающимся в исследовании в стационаре, то есть грубо говоря, в психушке (в спецотделении КГБ для политических заключенных в Институте Сербского).

Итак, тощий субъект с тревожными глазами приказал мне раздеться догола, осведомился, нет ли у меня антисоветских надписей и татуировок на теле, затем повел меня в душевую, где рябая толстая санитарка тупой безопасной бритвой выбрила мне лобок и волосы подмышками. Делала она это спокойно и равнодушно, несмотря на мои крикяженья, отнюдь не связанные со смущением или чем-то более интересным, а просто от боли. Очевидно, тем же лезвием она побрила не менее сотни "подозреваемых" и "обвиняемых". Все это проделывалось на глазах дежурного врача, с явным интересом рассматривавшего мои половые органы. Далее меня сунули под холодный душ, дали огрызок серого вафельного полотенца и облачили в красно-желтую пижаму такого оттенка, что Матисс пришел бы в восторг. Ах, Матисс, Гоген, вы ведь совсем рядом, в двух шагах отсюда... в Пушкинском музее...

В матиссовской пижаме, сопровождаемый рябой санитаркой и долговязым врачом, взобрался я по лестнице на третий этаж и очутился перед большой дверью, выходявшей на лестничную площадку. Дверь открылась, и я попал в маленькую прихожую, заставленную шкафами, затем открылась другая дверь, и я увидел мрачный коридор, охраняемый часовым. Коричневые пятна дверей уходили вдаль. Рябая стукнула в одну из них. Открылось оконце, выглянула полная курносая физиономия, и вот я вхожу в знаменитую кегебистскую психушку: 4-е отделение. Три комнаты, коридорчик, туалет, высокие окна, забранные решетками. Все. Комнаты сообщаются друг с другом. Впервые после многих месяцев я в обществе людей. Они рассматривают меня, некоторые подходят, представляются: украинский поэт, литовский активист из сахаровского комитета защиты прав, молоденький парнишка, приклеивший воззвание к кремлевской стене и взятый возле нее с клеем в руках, остроносый, широкоскулый лейтенант, бежавший через границу в Иран. И еще, и еще другие — насельники и обитатели психиатрического Ковчега.

В этом маленьком мирке были свои группки и группочки, и была капитанша. Каждые шесть часов ее сменяла другая — не менее толстая и не менее разговорчивая. Тетя Нюра, тетя Дуся, тетя Маша... В первую ночь я спал в большой комнате (две остальные были намного меньше). Тут же стоял круглый стол, и все население ковчега проводило основное время здесь, в большой. Ночью я проснулся. Холодный пот прошиб меня: что-то белое, массивное возвышалось в ногах и смотрело на меня круглыми блестящими глазами. Присмотревшись и привыкнув к полумраку, я понял, что это одна из очередных "тет". Я спросил ее шепотом, в чем дело. Она объяснила: так положено в первые ночи. Сидеть и наблюдать за новыми больными. Сон уплыл. Я слышал, как ворочается и зовет кого-то во сне иранский беглец, похрапывает литовский диссидент, как спокойно дышит парнишка, расклеивавший воззвания. Все-таки под утро сон взял свое, и проснулся я от шумного кашлянья и плескания водой в умы-

валке. Очередная тетя бойко двигалась от одной постели к другой и будила непроснувшихся.

В нашем психиатрическом ковчеге — всякой твари было по одному экземпляру, но экземпляру особому, стоящему многих однотипных зэков. На постели в комнате-одиночке лежал съедаемый туберкулезом и собственными стихами украинский поэт. Мягкий, милый говорок, круглая остриженная голова на тонкой морщинистой шее. Прошел страшные угольные рудники то ли Колымы, то ли Казахстана, был взят вместе с родителями как националист-самостиец, потом, после 1956-го, вернувшись к беленым хаткам и журавлям Приднепровья, учительствовал, сочинял непечатаемые стихи, обзавелся семьей. И вдруг снова — острая тоска по неизведанной независимости, иррациональное желание быть самим собой — заставили его вместе с еще одним таким же изголодавшимся по свежему воздуху найти в лесу заброшенный бункер, где, может быть, до них отсиживались забытые Богом и КГБ бендеровцы, засесть там и издавать машинописный журнал. Сейчас он лежал на кровати — тихий, тонкий, прозрачно худой после нескольких лет владимирской тюрьмы. Мы быстро подружились, и он часами читал мне свои стихи. Они были техничными, но не очень самостоятельными по форме. Правда, судить мне трудно, — украинский язык явно не моя стихия. Впрочем, позже я слышал стихи других украинцев и понял, что не ошибся в своем первом впечатлении. Настоящий украинский язык — не сколок русского, а сложное, живое тело, полное загадок и идиом, а стихи Зиновия я понимал без перевода. Но что было в них настоящим — это боль и кровь, лившаяся столетиями. Сейчас кинули его в психушку из-за сборника, написанного в тюрьме и вынырнувшего на Западе. Самое смешное, что все стихи он посылал открыто в письмах жене, в письмах, прошедших свирепую тюремную цензуру. Скорее всего, цензоры ленились читать стишки, да и каждое стихотворение в отдельности было всего лишь мазком сложной ткани целой книжки. Вот и лежал в Институте Сербского поэт с "карыми очами" и, грустно глядя на меня, говорил: "И что я могу поделать: проснулся

ночью; а на груди сев чорт и молвит мову зи мной". И он начинал читать мне свои стихи об Иване Франко, Гоголе, Раде... Как всякому творцу, ему хотелось тотчас же слышать похвалу, ощущать реакцию на созданное. И я пытался изо всех сил быть объективным и доброжелательным. Иногда, чтобы дать ему отдохнуть, я читал ему Есенина, Блока, Пастернака. Он почти не знал русской поэзии. Или знал, но не хотел признаваться из-за национальной жестокости? Милый Зиновий, в какой психушке ты сейчас? Смешно, но среди его стихов были и апологии Петлюры и Богдана Хмельницкого. Парадоксы, парадоксы. Дьяволы для моего народа и ангелы для народа его. А мы оба в одном ковчеге посреди моря лжи...

Во второй комнате, на угловой кровати, проживал еще один насельник нашего ковчега. Несколько дней я присматривался к нему, не решаясь, однако, заговорить, хоть мне и было мучительно любопытно узнать его историю. Однажды после обеда, на прогулке в маленьком дворике, окруженном толстенной стеной, увитой плющом, когда все психоисследуемые разбрелись вдоль единственной дорожки, Павлик, так звали его, сам заговорил со мной. У него оказался на редкость низкий, хрипловатый бас, никак не вязавшийся с круглой, детской физиономией и ярким румянцем, который не могли притушить ни воздух тюрьмы и психушки, ни здешняя "диета". Павлик оказался сыном высокопоставленного военного чиновника, чуть ли не прокурора армии, служившего в одной из "освобожденных" стран. Естественно, что вся семья жила там же, и детишки вырастали в спертой атмосфере замкнутого дипломатического мирка. Их возили особым автобусом в город, наполненный остроконечными домами, пустынными узенькими улочками, музеями, где навечно застыла с письмом в руке девушка Вермеера, где сквозь почерневший лак пробивались улыбки на портретах Гальса и парила на облаке Рафаэлева куртизанка с тревожными и грустными глазами. Весь этот дипломатический мирок был пропитан страхом, слезкой, взаимными подсиживаниями и тоской по "Большой земле". Мальчик подрастал, а родители, не замечая этого, продолжали распутничать, лицемерить, пышно говорить о пре-

данности Родине и втихомолку смеяться над нелепыми статьями в привозимых советских газетах, да и языки Павлик уже знал и мог почитать всякие журнальчики и газетки, которые прокурор держал на столе в кабинете.

Однажды в руки Павлика попала маленькая книжка, где обстоятельно излагалась история послереволюционной России. Он проглотил ее в одну ночь. Словно лента фильма прокрутилась в мальчишечьем мозгу: кровавый семнадцатый, пыточный тридцать седьмой, удушливо-серые пятидесятые, болотно-оттепельные шестидесятые и сгущающийся мрак начала семидесятых. Личности, о которых в школе писали восторженные сочинения, которые канонизировались и почитались, оказались достойными низкопробной уголовной хроники. Распихивая друг друга локтями, топча трупы, тянулась вся эта мразь к вершухе пирамиды, к власти. Срывались и падали в бездну, увлекая за собой миллионы невинных жертв. Так была написана эта книжка, так сухо, просто, что Павлик поверил в нее так, как до тех пор верил каждому слову, сказанному отцом. Как-то Павлик спросил его, во что он верит. И отец, улыбаясь, ответил: "В силу". После той книжки Павлик понял смысл этих слов. И тогда он задумал большое дело. Не что-нибудь, а Освобождение России от накопившегося исторического зла. Оно было огромно, это зло. Оно опутало всю страну, и только одно средство было действительно против него: еще большее зло. Газеты в то время пестрели сообщениями о революционных террористах, которые боролись за правое дело, против империалистов, капиталистов и сионистов. Красные бригады в черных масках врываются в квартиры и редакции газет и косили всех из прекрасных автоматов, таинственным образом попадавших из соцстран на Запад. Словом, Павлик понял, что это и есть тот метод, способный перевернуть затхлый мир поработенной России.

Так прошел год, изменивший Павлика совершенно. По-видимому, от природы ему был дан холодный методический мозг организатора. Целый год Павлик готовился к возвращению в Россию. И когда прокурор и прокурорша возвраща-

лись в Союз (прокурор получил повышение), то среди вороха их чемоданов (конечно, не подлежащих таможенному досмотру) был черный увесистый сундук, набитый оружием, боеприпасами и книгами об организации террористической борьбы. В Москве Павлик, конечно, попал в самую что ни на есть привилегированную школу. Ах, детки, детки — редко все-таки яблоко падает недалеко от яблони. Павлику легко было организовать из своего класса "Революционную группу Освобождения России" (РГОР).

Первое деяние группы было малозначительным: ночью в центре города, накануне одного из советских престольных праздников (кажется, 1-го Мая), загорелся иконостас портретов, то бишь физиономий членов Политбюро. Утром они являли собой вид неприличный и мокрый. Что не тронул огонь, — размыли мощные струи брандспойтов. Однако следующее дело было уже поинтереснее — вспыхнул огромный склад горючего на аэродроме, вблизи которого был дачный городок для детишек высокопоставленных. Властям и в голову не могло прийти, что поджогами занимаются, можно сказать, их собственные дети. А по Москве поползли слухи о грузинских националистах, армянских террористах, литовских зеленых братьях.

Однако Павлик считал, что организация нуждается в квалифицированном военном руководстве. И он решил завербовать военрука школы — отставного капитана КГБ. Вербовал он его в длинном подвале-тире, где обычно происходили стрельбы, а "на стреме" стоял один из революционеров-освободителей ("слабак" — презрительно отозвался о нем Павлик). Военрук наотрез отказался присоединиться к ним, более того, посоветовал тут же пойти с повинной к властям. Павлик пристрелил его. Так вот просто, как он рассказывал мне, убил человека во имя Освобождения. "Слабак" упал в обморок, а потом раскололся дома. Это и было началом конца. Правда, группа чуть-чуть не похитила Косыгина. Задумана операция была прекрасно, даже катер куплен на деньги, добытые шантажом. Дело в том, что премьер часто катался на своем катере по озеру. Решено было взять его ка-

тер в плен, а на другом катере увезти и спрятать, чтобы затем предъявить особые требования (свобода печати, собраний и прочее в том же духе). Представляю, как бы обрадовались паучки из Политбюро, когда стало бы меньше на одного конкурента. В конце концов Павлика арестовали, но группа еще действовала некоторое время и даже успела выбросить из окна многоэтажного дома пресловутого "слабака"-предателя. Словом, "освобождение" России, даже в миниатюре, оказалось делом кровавым и злодейским. Теперь Павлик сидел под следствием, и папе-прокурору с трудом удалось повернуть дело в психиатрическую сторону. А остальные, менее важные "освободители" были рассажены по разным детским изоляторам. Во что они превратятся? Как обкатает их тюремная жизнь, в чем они найдут свое освобождение?

Однажды утром, после гречневой каши и "беседы" со змеевкой, так я обозначил для себя мою психиатрию — тощую жилистую даму с плотно поджатыми губами, так вот как-то после тихого утра в тихой психушке слышали мы истерический плач, хлопанье дверьми и топот сапог. Все прижухли на своих постелях, за круглым столом, в туалете... В тюрьме не спешат узнавать новости, хоть и мучительно ждут их. Минут через пять я сидел в нашей одиночной комнате, где обычно ночевал Зиновий, а передо мной на кровати всхлипывал длинный, худющий мальчик в серо-голубой пижаме, лет 18-19-ти. Почему я оказался в роли утешителя? Очень просто — соседи по психушке сказали мне: "Пойди — там, кажется, одного из твоих привели". "Твой" — на вежливом языке тюрьмы и лагеря означало или "жид" или "еврей". И действительно, он был одним из народа нашего. На молоденьком лице торчал победоносный нос, а изо рта вырывались клочкующие клубы картавого "р". Имя у него, как водится, было Коля. Сумбурными и странными были и рассказ, и сама история Коли. Уставясь на меня своими огромными выпуклыми глазами, в которых, казалось, навсегда застыл ужас, он поведал невероятную, бредовую, но возможную историю, финалом которой был психиатрический ковчег.

Из черновицкой семьи, где родным языком был идиш, бросили парнишку, коверкавшего русские слова, в армейские

казематы, на политбеседы об империалистическом Израиле, при упоминании которого все дружно поворачивали круглые стриженные головы в сторону притихшего Коли. Его поколачивали, заставляли драить унитазы и советовали убираться в Израиль. Вырос он на улице, в окружении говорливых мальчишек и девчонок, под вечной звездой советского еврея: "Он хоть и еврей, но хороший человек". И семья была обычной еврейской: папа — портной, "но очень хороший, умел делать деньги".

И вот в этом мозгу, затравленном издевательствами армейского антисемитизма, возникла идея уйти, преодолеть это пространство моральных и физических мучений. Но разве еврей может уйти и преодолеть свое горе просто? Нет — тут нужна неумная фантазия Сутина и Шагала, тут нужны летающие козлы и смятые временем и пространством безглазые лики Модильяни. О них Коля, наверное, никогда не слышал и, скорее всего, никогда не услышит, но разве это важно? Важно другое — он и еще трое бедолаг решили бежать из Монголии, где стояла их часть, через Китай (!!!) в Израиль.

Господи, ну взгляни же на свои создания, полюбуйся на их дела и желания. И вспомни о Коле, он ведь хотел только одного — уйти от унижений, даже через Китай, туда, где ни его нос, ни его "rrr" не будут вечным клеймом. И ведь совсем неважно, что вместо Израиля он очутился в психиатрическом ковчеге, и неважно, что через много лет увидит он свой Израиль реальным, требовательным, всепрощающим и жестоким. Важно другое — что в какое-то мгновение, на какой-то короткий миг Коля с его колумбовым желанием достичь Израиля через Китай стал символом нашего абсурдного века, когда сумасшедшие желания и есть трезвая истина, а трезвая сухая истина ведет лишь к самоуничтожению...

Таким и останется в моей памяти Коля, то плачущий, то хохочущий, мешающий идиш с картавым русским, непристойные юношеские рассказы с буйными фантазиями о вывешивании израильских флагов на Черновицком горсовете, таким и останется он, лежащий на животе, с кроткими грустными глазами, стихший после спинно-мозговой пункции, которую ему

сделали с согласия родителей. Согласие они дали, чтобы по-трафить психиатрическим экзекуторам и получить все-таки шанс на вызволение мальчика из цепких лап судебной машины. Утром в этот день увели меня из психиатрического отделения на комиссию...

Да, я еще не рассказал тебе о моем психиатрическом эксперте — о змеевке и ее методах исследования. Она вызвала меня на второе утро после моего появления в ковчеге. Стол ее был завален бумагами, в которых я без труда узнал свою писанину (милое словечко, отражающее презрительное отвращение всей партийно-тюремно-судебной машины — от надзирателя до верховных судей — к письменному слову). Змеевка копошилась в бумагах и явно ничего не понимала. Удивленно поднимая брови, она спрашивала: "А почему в ваших сочинениях есть мистический налет? Вы действительно встречались с Мефистофелем, или это какой-то символ? " "А где вы видели голову, — тут она поперхнулась, — Ле... то есть Основателя — отрубленной?" Сначала я пытался что-то бормотать об образном мышлении, о технических приемах литературы, а потом замолчал и стал пристально изучать черную бородавку, сидевшую под ее правым глазом. Через несколько минут после начала нашей беседы я снова почувствовал себя в кабинете следователя, с теми же привычными, знакомыми стенами, с теми же приемами морального выворачивания рук и дробления суставов. Но я уже был закаленным бойцом и понял простую истину: как солдату на фронте нужен свой окоп, так и эску на следствии — молчание. Из молчания невозможно соткать дело. Из любых объяснений и пояснений — можно. Вот и сидел я, и изучал бородавочку под правым глазом следовательши, и думал, что будет, если бородавочку удалить — изменится или не изменится выражение глаза или же он останется тем же прозрачно-зеленоватым камнем на белом припудренном лице. В конце концов раздраженная змеевка сказала мне в сердцах: "Вы напрасно молчите — вы ведь знаете, что этим вы меняете себе диагноз!" Вот как просто — можно пригрозить психически больному (или неуравновешенному человеку) изменением диагноза.

То есть, не будешь говорить — назовем это аутизмом, шизофреноподобным комплексом, ну, а далее вывод ясен — необходимо лечить. О, великий гуманист, Сербский! Думал ли ты, что психиатрическая терминология столь гибка, что ее можно использовать для моральной или физической казни человека. Человек засмеялся — эйфория, он грустит — депрессия, защищает свои убеждения — параноический бред, молчит — аутист, говорит — логоррея, ходит по комнате — моторное возбуждение, лежит в постели, не меняя позы, — ступорозное состояние, и так далее и так далее. "Да, вы меняете себе диагноз..."

Потом еще несколько раз змеевка пыталась преодолеть мой "аутизм". В один из "сеансов" она показала серию картинок и попросила составить на их основании рассказ. На картинках был изображен крестьянин на подводе, какой-то молодой парень, рубящий дрова, затем подвода, груженная дровами, затем молодка, топящая печку, около которой сидел кот. В общем, что-то некрасовское. Я перебрал картинки. Нужно было что-то сочинить. Посмотрел на бородавку змеевки, и что-то жгучее стало шевелиться во мне. Очень захотелось взять тяжелый стул и изобразить острое моторное возбуждение с попыткой физического воздействия на окружающих. Вместо этого я написал: "Жил в деревне кот, — была зима, коту стало холодно. Он попросил хозяйку послать мужа в лес за дровами. Мужичок поехал в лес, нарубил целый воз социалистической собственности и привез домой. Затопила хозяйка печку, согрела кота, согрелась сама, пригрела мужа. Но на общем собрании покаялась в содеянном, за что и была прощена, а муж получил по статье такой-то за хищение соцсобственности семь лет". Змеевка выпучила глаза, прочтя мой опус, тихо пошевелила губами и попросила меня удалиться в отделение. Больше мы с ней не встречались.

Итак, антисоветского "аутиста" вызвали поутру на высшую психиатрическую комиссию. Сидел за длинным овальным столом весь советский психиатрический синедрион. Сидел Жора Морозов, полноватый, в щегольском белом халате, сидел с чуть презрительной усмешкой Наджаров с не-

раскуренной трубкой под черными сталинскими усами, сидел, скаля желтые лошадиные зубы, Снежневский, приткнулся круглым коlobком Лунц, закрывшись утренней "Правдой". Было еще много всякого люду. В уголку дивана скромно притулился мой Серафим. Вел заседание Жора. Он обратился ко мне, столь странно выглядевшему в матиссовской пижаме среди официальных костюмов и халатов: "Считаете ли вы свою деятельность проявлением нормальной психической жизни?" — "Да, — ответил я, — в нормальном обществе, но в этом пространстве и времени моя деятельность вполне укладывается в психиатрически наказуемое деяние". — "Что вы собираетесь делать после отбытия наказания?" (а еще не было суда, еще не закончено следствие!!). — "Уехать отсюда в государство Израиль". — "Вы считаете, что там общество более нормально?" — "Я очень надеюсь". Больше вопросов не последовало, и меня удалили из зала. Вслед скалилась маска Снежневского.

А назавтра рослый офицер с синим околышем на фуражке вывел меня к воротам, одетого уже не в пижаму, а в свою собственную мягкую одежду, и покатил воронок в сторону Лефортова. В темном моем стакане через щели мелькали сполохи утреннего весеннего света. Трата-та, трата-та, мы везем с собой кота...

Кто же я теперь — псих ненормальный или же чайничек с крышечкой? Во всяком случае, пока не пациент и еще не осужденный.

Сиреневые тени облаков,
Верблюжьими холмами горбится пустыня,
И тянется чреда веков-оков
Тогда, всегда, навечно и поныне.

Весело шумит под крутым килем прозрачная морская вода. Переваливается с борта на борт Ковчег. Притихли все обитатели его. Жарко. Распласталась на прохладном деревянном настиле серна, и огромный седокудрый лев положил свою ко-

шачью лапу на шею ее. Свернулись в клубок змеи, и прижались к их скользкой чешуе кролики и крысы. А на огромном питоне, как на связке канатов, расположилась одна из невесток Ноя, и голова змея покоится между грудей ее. Жарко. Лениво. Тихо. Пустынен океан и одна волна повторяет другую. Двигается Ковчег и застыл на месте. Ночью узоры звезд покрывают прозрачную чернь неба. Они дрожат, сменяют друг друга в извечном хороводе, а утром оранжевый гладкий солнечный диск съедает звезды и чернь ночную. И снова те же сине-зеленые волны и та же грозная шумная тишина океана. На верхней палубе сидит Ной, а вокруг в ужасе застыли сыновья его. Белокурый Сим, эбеново-черный Хам и желтоглазый Яфет. Опять чудит старец. Ну хорошо, ну спас их всех от неминуемой смерти, за волосы и кнутом заставил строить Ковчег. Слава ему и Господу нашему! Но теперь-то чего ему еще надо? Так хорошо, так уютно в Ковчеге. Все мирно ужились, не жрут друг друга, не кусают, не душат. Тесновато, но сытно. Лежишь себе в каморке, слушаешь плеск волн и нет забот о хлебе, о завтра, о вчера. Остановил Господь рождения и смерти, нет ни ненависти, ни любви. Катится время, катятся волны. Так бы и всегда. Так нет же! Снова Ной не по душе этот благословенный мир. Посылает птицу безмозглую, посылает голубя разведать — близка ли суша. Тщетно просили сыновья, рыдали невестки, даже звери неразумные подняли вой и крик. Выпустил все-таки Ной голубя. Ждали, долго ждали его обитатели Ковчега. Время стали отмерять от этого дня. "Вот вернется голубь, — говорили они со страхом и надеждой. — Прилетит он, голубь-вестник. И будет великий Суд и великий праздник". Готовили для голубя особый насест, называли его всеми Именами Святыми. Так долго ждали, что почти не верили, что он вернется. Но настал день — и прилетела птица. Села на свой насест и стала деловито чистить перья. До чего же худа она была, до чего невзрачна. И никаких вестей не исходило из клюва посланца. Но не успокоился Ной и послал другого голубя. Снова застыли в страхе и радостном предвкушении новостей обитатели Ковчега! Вот прилетит посланец, и жизнь пойдет иначе.

Приблизится час и день Суда, и все праведники выйдут на просторы Земли, и хлынет на них поток Любви, и откроется чрево у самок, и мириады новых жизней наполнят вселенную. Так они ждали, так они надеялись, что стали почитать выпущенного ими же голубя Именем Святым. И вернулась птица. Черная от тоски и усталости. Жадно она пила воду, а потом нелепо захлопала крыльями и подохла. И послал тогда неугомонный Ной третью птицу. Серую горлицу, гладкую, откормленную на Божьих хлебах. Снова стали ожидать ее возвращения. Песни слагали и молитвы пели. Все надеялись на Ответ и Суд. Горлицу же стали почитать как некую Деву. Семь раз обернулась Вселенная вокруг оси своей, а Ковчег все колыхался на поверхности вод, и не было на горизонте даже признака суши. И вернулась горлица. Такая же гладкая и сытая, и в клюве ее была зеленая ветвь. Упали ниц перед горлицей все обитатели Ковчега. Вот он, Суд Господа, близка Земля с зелеными лугами и дремучими лесами, скоро, скоро заскрипит днище Ковчега по песчаному дну и ноги наши ощутят твердь земную. И только Ной почему-то молчал и не было радости на лице его. Задумчиво вертел он в руках оливковую веточку, истекающую прозрачным соком. Вот коснется вершин горных кряжей Ковчег. Падут его прочные стены и перегородки, рассыплются по Земле его обитатели и, словно багровый сок, потекут кровавые реки. Кто насытит их, кто очистит нас от убийств? Распадается Ковчег, и над его обитателями, ликующими и целующими земную твердь, встают седые валы нового Потопа.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

...Обратно в Лефортово. Лязгнули ворота. Знакомый мент деловито предложил: "Руки за спину". Итак, я снова — подозреваемый и, более того, обвиняемый. В сумраке воронка заметил я на стене наспех выведенные карандашом слова: "В.Буковский, 15 лет и 7 — ссылки", "КГБ — советское гестапо". Несколько молоденьких солдат равнодушно

скользнули взглядами. Они сидели перед телевизором в дежурке. Футбольные визги и шумы гулко отдавались в подвальном, без окон помещении. Зазвякали ключи, личный обыск, но наскоро, наспех. "Чего его там проверять — "наши" везли!"

Опять в руках пахнувший хлором матрас, шершавый ворс одеяла, влажные простыни. Камера оказалась одиночкой. Как хорошо! Интересно, какой же диагноз поставила комиссия. В тюремной машине есть знаки и символы, есть особый язык, доступный лишь посвященным. Вот сейчас тюремный язык и сказал мне, что я признан "вменяемым". Что ж, и то хорошо, значит, не психушка, а лагерь. Как же я узнал об этом, — ты спросишь меня. Просто — стукнула кормушка, и толстуха-повариха плеснула обычную желтую жижу в мою миску и бросила кусок черного хлеба. А если бы я получил психушку, то был бы "больным", что означает другой пакет: молоко и серый хлеб. Вот как просто — не язык цветов, но язык хлеба насущного. Не прошло и часа, как сидел я перед знакомым столом и любовался рыжими глазами моего следователя-Серафима. На этот раз он был не один, а с плотноватым и бледноватым мужичком, оказавшимся моим прокурором — по фамилии Фунтов. Они что-то читали, объявляли, постановили, подписали. Двое деловито, привычно обглодали кости, высосали из них мозг, выплюнули, что было несъедобно, затоптали костер и пошли дальше. А остывающая зола покрывала обугленную кожу и пальцы еще шевелились, ласкаемые синим огоньком...

Облупленные стены новой камеры были поражены многолетней сыростью. И в отличие от других эта камера своим окном упиралась в глухую серую стену странной конфигурации. Утром, часов в девять, стена просыпалась и издавала пронзительный вой, сменявшийся монотонным методичным гудением. Казалось, что тысячи струй воздуха засасываются в гигантскую воронку. Потом выяснилось, что это — действительно, аэродинамическая труба. Вечером, когда ее гул смолкал, голова моя напоминала разбухший бычий пузырь. Теперь мы коротали дни и ночи в этой озвученной камере вместе с ху-

деньким иудейцем. Его буквально кинули в мою камеру, а следом влетели демисезонное пальто, матрас и грязное полотенце. Очки его — огромные, с толстыми выпуклыми стеклами — лежали у моих ног на полу. К счастью — целые. Еврея звали Захар, и был он профессиональный шулер по прозвищу "Очкарик".

В мире диалектической лжи все запланировано и размечено. Страсть, влечение, случай, удача — слова запретные и преступные. Какой может быть жребий, когда "случайное есть лишь форма закономерного". Вносите деньги в сберкассу, пейте соки, совокупляйтесь в позе, предписанной журналом "Здоровье", смотрите программу "Время", читайте "Правду" и "Огонек", болейте за "Спартак" — и вам уготована мирная пенсионная старость, а могила ваша станет еще одной ступенькой в светлое будущее.

Но оказывается, — нет! Не все гудят в эту диалектическую дудку. На каменно-асфальтовом покрывале образцовых городов, и особенно в Столице столиц, приютились возле бильярдных, возле пивных маленькие отдушины, где по ночам сходятся жаждущие игры и удачи, проигрыша и поражения. На подступах к ипподрому таксисты загадывают выигрышные номера заездов по случайным сочетаниям цифр на номерах машин, идущих впереди. И мнятся мне греки — угадывающие будущее по полету птиц и по внутренностям жертвенных животных. В мире игры и страсти — свой закон, своя мораль. Казенный служака, читающий по бумажке речь на партмитинге, вдруг пускает себе пулю в лоб, проигравшись в покер и не отдав долг чести. Муторный, раздираемый зевотой быт вдруг исчезает, когда в желтом круге света трещит новенькая колода карт и шелестят сторублевки с изображенным на них лысым господином в солидном костюме с жилетом. В этом мире есть свои герои, свои мученики, свои преступники. И властвуют над ними Удача, случай и страсть.

В этой упорядоченной будничной жизни — ты серое нечто, бредущее в толпе под кроличьей ушанкой, там, в мире страстей — ты Король, когда удача обнимает тебя, и падший ангел, когда она отворачивается и целует соперника. Тут твой

мозг — заплесневевший унитаз, омываемый и промываемый одними и теми же сточными водами, там он мускулистый боец, тактик и стратег. Таков был мой Захар — маленький, цепкий, сжатый, как тугая пружина, вечно готовый к атаке и столь же бесстыдно готовый к отступлению, к унижению, но только не к пассивному ожиданию. Лягушка, сбивающая молоко в масло и победоносно вылезающая из бочки (прихватив с собой кусочек этого самого масла). Проходил Захар, как это и положено зубному врачу в СССР, по делу экономическому, а не политическому. Но КГБ ведь блюдет все, а потому разрушителей советской экономической системы держат в том же Лефортове или даже на Лубянке. Уж больно слабы материальные подпорки, возведенные в глубинах прошлого века где-то там в Германии и Лондоне бородатым евреем, канонизированным с тех пор и причисленным к лику коммунистических апостолов. Эти подпорки шатаются под ударами естественных жизненных влечений и страстей, а потому нуждаются в усиленной полицейской защите. Конечно, всякая конфискация "незаконно" добытого или выигранного приносит прямую материальную выгоду "экспроприаторам". Каждый из них получает свою долю или процент с добытого. "Грабить так грабить", — сказал Основатель, получая в свое время в Цюрихе от верного ученика и продолжателя пачки денег с запекшейся на них кровью банковских служащих.

Но я отвлекся от моего дорогого друга и сокамерника Захара. Проходил он по странному, немыслимому в обществе инструкций и приветствий делу — по делу о бриллиантах. О, сказочное далекое Эльдorado, увижу ли я тебя когда-нибудь? "Там груды золота лежат и все мне одному принадлежат!" Была в Москве бриллиантовая фабрика. Привозили туда из далекой Якутии, из глубоких алмазных трубок, привозили из глухих таежных углов невзрачные угловатые камешки, называемые алмазами. Сиречь — чистейший кристаллический углерод, камень бесчувственный, но одушевленный человеческой страстью ко всему редкому, труднодоступному, символ богатства, символ твердейший, но призрачный, исчезающий в огне и улетающий вместе с копотью и угаром. Привозили эти

камешки в стольный коммунистический град, и искусные шлифовальщики превращали их в ограненные капли, дрожащие разноцветной гаммой на белоснежной коже, обрамленные тонкой паутиной золота. Ясно, что бриллианты — меньше по весу и размерам своих родителей — алмазов. В распланированном мире точно указано, что по стандарту (ГОСТу) из алмаза весом "х" можно получить бриллиант весом не меньше "у". Но один хитрый еврей подумал, а почему нельзя сэкономить и получить из такого же алмаза бриллиант на один-два карата побольше, сдать вместо него купленный в магазине бриллиант стандартного веса (по ГОСТу), а разницу в цене между двумя камешками положить себе в карман?

Еврей этот сам алмазы шлифовать не умел, но был он дантистом и весьма оборотистым человеком. А потому и собралась вокруг него большая компания, и, заметь, не только евреев, но и весьма почтенных представителей господствующей нации, а кроме того, и других народов нашей многонациональной страны: армян, грузин, узбеков. А все почему? Бриллианты в Союзе доставать трудно, вот и пришлось разворачивать бизнес в дальних городах и всях. Короче, вовлеклась в эту игру вся бриллиантовая фабрика, включая партийно-профсоюзно-комсомольский актив и дирекцию. И когда прозвенел колокол Судьбы, пришлось властям закрыть всю фабрику, ибо ни одного не замешанного в это дело человека на фабрике не осталось. Все играли в камушки. Вот так и Захар присоседился, но в отличие от остальных бизнесменов держался твердо, свое участие в обмене бриллиантов отрицал до конца. И получил наименьший срок: 5 лет, а все искренно раскаявшиеся, смешавшие себя с грязью, вешавшиеся в камере и даже одна женщина — представительница солнечной Армении, которая "канала" под психически больную, — все получили от 8 до 15-ти.

Вот кто был моим компаньоном последние три месяца в Лефортовской тюрьме. Многому я научился у него. Я понял, что в этой живодерной машине, куда меня закинула Судьба, нельзя быть отстраненным чистоплюем, нельзя жить по стандартам и нормам цивилизованного общества. До встречи с

Захаром мои душители и палачи все-таки казались мне немножечко людьми. Как-то неловко было лгать, мошенничать, униженно просить, чтобы затем нанести удар по дающей руке. Сидя с Захаром, я понял, что в этой новой системе, в этом кровавом месиве человек, если он хочет остаться самим собой, должен освободиться от стыда, беспощадно врать и обманывать власти предержажные, рассматривать их как огромную воровскую и, более того, грабительскую шайку, в борьбе с которой возможны любые средства. И совсем не стыдно украсть лишнюю пайку хлеба или обсчитать полуграмотного продавца в ларьке, пронести в камеру запрещенную бритву, сидя на толчке, постучать в кормушку, а когда ничего не подозревающая ментовка откроет ее и вдохнет зловонный угар, оборотиться к ней голым задом и невинным голосом попросить газетки.

Иными словами, в школе Захара я начал превращаться в зэка. А время, между тем, крутило свои колеса. Миновал июнь, и каменную клетку Лефортова начало поджаривать июльское солнце. Однажды, выходя на "прогулку" — из одного каменного мешка в другой, с тем только отличием, что на прогулке вместо потолка было бледно-голубое небо, затененное вышками и сетками, — так вот, выходя на прогулку, мы с Захаром почувствовали странный запах гари. Обычно во внутреннем дворе лефортовской тюрьмы было полно всяких запахов: кухонные испарения смешивались с сытым запахом кофе из следователских кабинетов. Иногда во дворе жгли старые бумаги, и тогда добавлялся дымный запах, странно напоминавший осенние скверы и кучи желто-красных листьев, уходящих в прозрачное небо седым дымом. Но в этот раз запах был особый, горький, тяжелый, да и дым был настолько плотен, что углы двора тонули в сумраке. Только через несколько дней из "Правды" мы вычитали о лесных пожарах вокруг Москвы и "героических" делах солдат, упавших в горящую торфяную бездну. И мнилось мне — Некто огромными пухлыми губами раздувает вечно тлеющий огонь, и в пылающую каверну медленно погружается весь этот город. Трескаются красные стены, со звоном лопаются пятико-

нечные рубиновые звезды, труп Основателя садится и удивленно озирается в призрачном дымном сумраке. Всюду ползают черные мурашки людей...

А потом огромное черное пепелище затягивают изумруды трав, тонкие руки деревьев заслоняют от взглядов бесстыжую наготу потухших провалов. И ничего нет — ни каменных мешков, ни жужжания кормилиц с очередями, ни часовых на вышках, ни тройных подбородков над иконостасом орденов, ни рыжих серафимов, ни белохалатных душеведов. Только тихий шелест трав и сонное пение стрекоз. Выжигает Природа гниль и залечивает свои раны. Ах, как хорошо! Сгорят они, сгорю я — и останутся лишь Покой и удивленные глаза цветов... Всматривается Ной в слепящие дали пустыни, насторожена его душа в ожидании очистительного Потопа...

Упал на Землю мрак — Извне,
И мышь летучая —
Царицей стала,
И паутины покрывало
Убило Истину Зари...

Суд, Судьба, судьи... на серо-розовых ступенях Храма толпы народа с недоумением слушают маленького сморщенного старика, размахивающего руками и бормочущего слова страшные и оскорбительные. Солнце в зените, полощутся резные листья пальм, пот грязными струями заливает глаза старика и сливается со слезами. Грозно вздымаются колонны храма. Раскаленные камни впитывают солнечный жар, чтобы возвернуть его ночью, а он все проклинает и плачет — такой невзрачный и грязный. "Несчастный", — вздыхают одни. "Сумасшедший", — равнодушно усмеваются другие. "Негодяй", — вопят третьи... Но распахивает время свой ненасытный зев и проглатывает всех. И тех, кто создавал, и тех, кто проклинал созданное. Ступени храма лежат погребенные под кучами мусора, козы рассеянно жуют колючки, проросшие между плит некогда пышных зал, корни трав обвивают пус-

тые черепа и кости, тлен... И лишь проклятья и вопли маленького старичка остаются и живут — то в знаках на полустертых камнях, то в шуршащем свитке папируса, то в тяжелой шершавости пергамента, то в тисненой вязи бумажных страниц. Суть и судьба человеческая в словах старика: вечная обязанность и вечная виновность. Возникший и осознавший себя и Мир, отделившийся от всего Живого, чтобы не только брать, пожирать, убивать, но создавать, отдавать, жалеть, понимать... Где, на каких путях и дорогах все это потеряно и залито кровью? Вечная вина бьется и клокочет в бормотаниях твоих, Ишиягу...

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

...Земляной вал, Полянка, Рязанский вокзал... Имена, пахнущие московским детством. Воронок вполз в затененный угол внутреннего двора. По опустевшим коридорам московского городского суда два мента повели меня навстречу суду быстрому и несправедливому. И мы встретились с тобой. Прошло только полгода, и те же атомы в наших телах, и те же клетки. И все другое. Первое, что я заметил, — твоя огромная соломенная шляпа. Как странно — гулкие сырые коридоры и эта шляпа, пахнущая солнцем и свежим ветром. Желтый нимб над твоими серебряными волосами. Нам не дали обняться. И хорошо. Я пропах тюрьмой, я был сгустком звериного страха и ненависти. Так пахнут клетки в зоопарке. В те считанные мгновения я лишь заметил изменившееся выражение твоих глаз, да развязных молодцов в гражданском, развалившихся на скамейках рядом с высокой дверью, в которую меня поспешили втолкнуть.

Загон, огороженный со всех сторон тяжелыми дубовыми стенками, — скамья подсудимых. За спиной застыли, напряжившись, два моих мента. Я спиной чувствую их дыхание. Окна в маленьком зальчике на уровне ног прохожих. Окна — веселые, яркие. Мельтешат брюки, юбки, топчут сапоги, постукивают туфельки, масляно-жирно блестит асфальт...

На возвышение из боковой незаметной дверки вползли трое. Мужичок в свитере, дама чиновно-педагогического вида и сам судья — грузный, большоголовый. Ах да, совсем забыл — нижний стол заняли адвокат и прокурор: карающая десница и милосердная длань. С адвокатом я познакомился за три дня до процесса. Обычный запуганный обыватель-иудей сидел и читал мое "дело" в особой комнате для свиданий. Время от времени он поглядывал на меня, вздыхал и спрашивал: "И зачем это вам понадобилось письма Брежневу писать?" Снова вздыхал и совсем по-местечковому тараторил: "Сорок лет в Москве живу и ни разу не почувствовал антисемитизма; как же это так можно клеветать?" В общем, отказался я от этого адвоката. И до суда и на самом суде объявил, что сам себя буду защищать. Но гуманный советский суд не допустил этого беззакония. Судья, пожевав мощными челюстями, постановил: "Обвиняемый нуждается в защите ввиду серьезности предъявленной ему статьи". Сижу, слушаю речь прокурора. Скучно. Слово в слово повторил обвинилровку-объебаловку (сочное выражение, а?!). Сейчас самое интересное: сколько потребует?

Ну вот, мой Серафим как в воду глядел. Шесть лет: три года строгих лагерей и три года ссылки. Дальше было еще скучнее — пробормотал застенчиво свою речь адвокат. Речь — как две капли воды похожую на обвинилровку прокурора. Было, правда, одно отличие: "Подсудимый антисоветчик и мерзавец, но... нуждается в снисхождении, так как долгое время приносил пользу советскому обществу своей научной деятельностью..." Сидел я, слушал и рисовал какие-то рожи на листочках бумаги. В зале было пусто. Суд — закрытый, поскольку деятельность моя была признана опасной и подрывающей основы. Основы чего? Противным тонким голосом, дрожащим от ненависти, я спросил судью: "Почему частные письма в одном экземпляре, отправленные конкретному лицу, считаются распространением антисоветской пропаганды?" Лица скучающей дамы и рабочего мужичка несколько оживились. Но тут же погасли. Судья, опять пожевав губами и покатав желваки, протрубил: "Разъясняю подсудимому, что

если бы его письма были прочитаны только тов.Брежневым или тов.Косыгиным (испуганно вздрогнул защитник и крикнул прокурор) — то состава преступления не было бы, но... ясно, что письма сначала были прочитаны их секретарями и референтами, а потому факт распространения антисоветской пропаганды имел место”.

После этого суд удалился на совещание. Ужасно хотелось жрать. Странно, именно не есть, а жрать. Наверное, от волнения. Где-то под дверьми судилища сидела ты и прислушивалась к звукам. Их почти не было. Менты стрекотали, ухаживая за довольно потертой секретаршей. Прокурор, взяв под ручку защитника, ускользнул в боковую дверь: подкрепиться, сказал он и блеснул в мою сторону веселым взглядом. Справедливый и грозный обвинитель Фунтов, потерявший где-то руку, где-то совесть, где-то честность, где-то... Чушь все это. Никогда и ничего он не терял. Просто есть люди и есть людоеды. Ими рождаются. И в некотором царстве, некотором государстве людоеды пришли к власти. Народ поежился и привык. Подумаешь, людоеды! Мы и сами так можем. И смогли. Сожрали 20 миллионов. А потом пришли философы и теоретики. Одни — сами из людоедского племени — заявили, что это неизбежный процесс, потому как все прогрессивное должно пожирать все непрогрессивное. Другие, избежавшие людоедских влияний, тоже стали объективно вещать, хоть и не любили людоедов, *per se*, что людоедизм явление объективное, народ его принимает, а потому надо это явление изучать и понимать. И вообще лучше людоедизм, чем что-то неизвестное, что может прийти ему на смену. Людоеды обрадовались и вышибли философов-нелюдоедов на Запад. Пусть там внушают всем, что людоедизм — это дело объективное и серьезное.

Страшно хочется есть. А суд совещается... Наконец-то!.. Снова на возвышение взошли актеры. Дама на ходу утирала рот бумажной салфеткой, а мужичок отряхивал крошки со свитера.

Мое последнее слово... Говорить или не говорить? Презрительно промолчать или выкричать им свою боль? Секретарша,

приоткрыв рот от любопытства, ждет. "Граждане людоеды... я хотел сказать, люди! Я понимаю, что бессмысленно обращаться к вам с просьбами, бессмысленно объяснять, так как приговор мой утвержден и подписан еще до моего ареста. Просто мне хочется бросить хоть какое-то слово, которое, может быть, повлияет на вас в будущем, а если не на вас, то на ваших детей, которым вы, может быть, расскажете, что здесь произошло. Мы с вами из разных миров. Вы из этого мира, вы принимаете его таким, какой он есть, я не вхожу в подробности и характеристики (зачем дразнить хищника?), я из другого мира, хоть и родился у вас. Да, я писал письма, да, я хотел выразить в них, что не принимаю этот ваш мир. Я не принимаю и не приму его никогда. Можно ли судить человека за то, что у него голубые глаза, а не карие, горбатый нос, а не прямой? Однажды некто бесноватый это уже делал. Известно, чем это кончилось. Мои письма — это мои глаза, мой нос, мое тело и моя душа. Их можно убить, но бессмысленно судить, так как суд предполагает возможность возвратить "преступника" обществу в нормальном виде. Меня же невозможно переделать — все во мне протестует против вашего мира. Но я не хочу его переделывать, ибо не принадлежу ему. Я хочу только одного: уйти от вас навсегда, не соприкасаться с вами, с вашими телами и с вашими идеями. Единственной милости я прошу у вашего суда (дама гордо приосанилась, прокурор вытянул короткую шею) — вышлите меня из вашего прекрасного рая в зловонный ад, с солнечного Востока на покрытый мраком и тучами Запад. Вышлите меня в страну, не обозначаемую на ваших картах, забытую вашими историками, проклинаемую официальными пропагандистами. Да, я иной, я — еврей и хочу быть им до конца своей жизни. Вы спрашиваете, признаю ли я себя виновным? Я — еврей и потому признаю свою вину перед Создавшим меня из праха. Да, признаю, но не перед вами я виновен и не в том, в чем вы меня обвинили. Я виновен тем, что не шел путем Господа, я виновен тем, что еще раньше не выразил себя открыто, а приспособливался к вашему миру. Я виновен, что слишком поздно почувствовал свою кровную связь с моим наро-

дом, избранным на испытания и муки. Вы хотите насильственно удерживать меня еще шесть лет в вашем мире. Зачем? Если и за сорок лет в общем благополучной жизни я не смог слиться с вашим обществом, — не помогут и шесть лет издевательств и унижений. Да, я люблю свой Израиль, которого никогда не видел и не знаю, и никакие препятствия не удержат меня от встречи с ним. Здесь, в этом суде, я говорю то, что говорит еврей в минуту опасности: "Шма Исраэль адонай элохейну адонай ехад".

Ну, а дальше ты знаешь, что произошло. Суд удалился, суд совещался, суд вернулся, и впереди у меня три года и три года. Забавно, мой "защитник" подскочил ко мне (то есть к барьеру, отделявшему меня от пустых кресел) и проверещал: "Видите, вы получили всего три года!" А секретарша с возвышения, презрительно усмехаясь, поправила: "И три года ссылки". — "Как?! А я не слышал!" — пробормотал растерянный адвокат. В старости люди иногда глохнут. Не правда ли? Меня стремительно протащили мимо тебя, но я успел сказать срок. Дальше сумерки. Коридоры, воронок, прохладный августовский воздух... Полянка, Землянка, Волхонка, Маросейка... Осужденный прибыл в Лефортово. Все то же и те же вокруг. Но нет одного — сладкой надежды. Шесть лет, ше-е-есть, а потом? "Шесть лет возделывайте пашни, а на седьмой дайте отдохнуть полю и себе. И отпустите рабов ваших... и будет для всех Шабатон..."

Совиные глаза прожекторов,
Неоновые сумерки вокзала
Пришли ко мне из давних снов,
Сорвав ночное покрывало...

Закутавшись в талиты, плотно обвязавшись платками, шли мы нестройной толпой вдоль горьких вод. Ветер обнимал нас и пригибал к земле. Белесые облака пыли и песка неслись и окутывали нас. И продвигавшиеся в задних рядах не различали идущих впереди. Где-то там шагал Моше, где-то там

мелко семенил Аарон и плыла дородная Мирьям. Пыльные паруса облаков бились о наши согбенные спины, рвали одежду. Но даже они не могли нарушить спокойствия и прозрачной неподвижности черно-зеленых вод. Буря гнала нас, и мы, как клубки перекаати-поля, катились под ее напором. И даже захотев вернуться в оставленный и ненавистный, привычный и родной Мицраим, мы уже не смогли бы. Судьба, рука Господня — ветер связал нас своими цепями и гнал во мгле меж черными скалами и тяжелыми неподвижными ведами... И вот сквозь визг бури и шелестение песка услышали мы, идущие, сзади ржание коней и вопли солдат, настигавших нас. В страхе, как стадо овец, преследуемое волками, закрутились мы на месте. Сгрудились вокруг Моше. Не было слов у него — косноязычного. Да и кто мог бы расслышать его голос сквозь трубный клоч ветра?

Вдруг увидели мы огонь, выросший из песка. Дрожал он и переливался, то приближался к нам, то удалялся. И вслед его танцу повлеклись мы все, побежали среди крутящихся смерчей пыли. Падали и разбивали колени о камни, поднимались, следя глазами за чудесным огненным призраком. А топот коней все ближе. Вот всадники уже видят нас и кричат и приказывают повернуть обратно. Вот уже нацелены их копья и стрелы в сердца наши. И мы смотрим на Моше, вопрошая безмолвно. Спуститься ли нам или подняться еще выше вслед за сияющим огнем? Моше говорит что-то, но не слышен голос его. Указывает он рукой вниз, и мы уже готовы идти навстречу плену. Но смятенные замираем: со стороны неподвижных горьких вод нарастает протяжный гул. И мы видим Его: огромный бурый вал нависает над ущельем, где ждут нас египтяне.

Он замирает на мгновение, а затем ревущая стая вод с крутящимися камнями и глиной заливают ущелье. Мы слышим предсмертные вопли, мы видим белые одежды египтян, скрывающиеся в мутных потоках грязной жижи. Все исчезает, и лишь грохот обрушившихся скал отвечает эхом. Оглядываемся. Стих ветер. В прозрачном воздухе носятся ночные птицы, плещется и бурлит поток, унося тела и колесницы;

лошади без всадников судорожно стараются выплыть и выбраться на сушу. А мы стоим на высоте в беспамятстве и страхе. И огонь чудесный пляшет, ликует и зовет...

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

...рюкзак. Глухой сентябрьской ночью меня вывели на небольшой плац перед воротами Лефортова. Розовощекий офицер долго изучал какие-то бумаги. Два солдата основательно обыскали меня, а затем кто-то темный в ментовском мундире сунул в мой рюкзак пакет со снедью: буханка черного, две селедки, газетный фунтик с чаем. Рюкзак оказался тяжеленным. Ты и друзья основательно потрудились. Чего там только не было: кальсоны, свитера, куртки, рубашки, рукавицы, ватник, носки, лыжный костюм. И на дне — коробки консервов. Розовощекий мундиرونосец усмехался: "Ну, обшмонают тебя эки". Но он ошибся — не обшмонали, зато тяжесть рюкзака дала себя знать, когда несколько раз пришлось бежать в строю эков вдоль железнодорожного полотна к очередному "столыпину".

Итак — прощайте, лефортовские чаепития, допросы, прощайте узорные сетки, запах сортиров и цветочного одеколона, прощайте, сокамерники, прощай, Серафим. Я ухожу на первый в жизни "этап".

В узком стакане воронка я едва мог повернуться — рюкзак притиснул меня к металлической стенке. Было темно и, признаться, очень неудобно. Другой такой же стакан и общая большая камера были пусты. Я преисполнился гордого презрения к своим конвоирам, усевшимся на сиденье перед двумя стаканами: "Одного конвоируют четверо, да еще и в стакан усадили!" Но мое презрительное самомнение (ишь, какая я важная птица!) было преждевременным: воронок долго мотался по каким-то улицам, почти не останавливаясь на перекрестках, и затем медленно въехал в какие-то ворота: я чувствовал по звукам, что где-то рядом со стенкой железно гремели их скользящие створки.

По голосам выяснилось, что мы в Краснопресненской тюрьме. Распахнулась дверь, и сквозь узкую щель в стенке стакана (осторожно расширенное кем-то вентиляционное отверстие) я увидел, что в воронок одна за другой влезают женщины. Некоторые очень молоденькие, большинство в ватниках и серых платках. Общее отделение воронок сразу наполнилось рокотом прокуренных хриплых голосов. Среди ровного гула выделялся низкий, силловатый альт. "Нюрка, сука, подвинь свою жопу!.." И тут же — иным, просительным, более высоким тоном: "Солдатик, одолжи сигаретку... Ах ты, ебанный в рот, еще фыркаешь! Я тебе в матеря гожусь, сопля говеная!" Послышалось звяканье внутренней дверцы, отделяющей общее отделение от стаканов и от входа в воронок. Низкий голос не унимался. "Вы, фраера ментовские, — насадили тридцать баб, что мы, не люди, что ли?! Зови начальника — не поедем!" Мужской голос — мальчишеский, петуховатый: "Чего пиздишь, давно рога не ломали?!" Сквозь щель в стенке я вижу, что говорящий — сухопарый прыщеватый солдат усаживается на переднее сиденье. Последним в воронок влезает другой солдат, и по тени я угадываю, что рядом с ним сидит большая немецкая овчарка. Второй стакан тоже занят. Я этого не вижу, но слышу по звяканью задвигающейся двери и щелканью замка. Тронулись наконец. Послышались взвизги и вздохи эзек, стиснутых в железных объятиях воронка. Сквозь щель я увидел, что охранники, сидевшие лицом ко мне вывели из второго стакана молоденькую девушку и усадили ее на сиденье между собой. Затем произошла вещь, мне еще не знакомая, но вполне привычная эзкам, сидевшим в общем отделении. Девушка взгромоздилась на колени к одному из солдат и начала ритмично подпрыгивать под оживленные комментарии подруг, доносившиеся из общего отделения. "Работай, Муся, — меньше чем за пачку сигарет не соглашайся! Ишь, сучка, как поддывается!"

Со стороны общего отделения в мой стакан также вело несколько узких вентиляционных щелей. Я увидел испуганно-любопытные глаза. А затем знакомый по перебранке альтовый голос возвестил: "Бабы, с нами мужик на этапе!"

— "А какой он?" — "Так не разглядишь! Эй ты, по какой статье? Жениться хочешь? Бабоньки, фалууй его!" Я ошарашенно молчал. Тем временем Муся проделывала со вторым солдатом то же, что и с первым. Заглушаемые общими визгами, матом и прибаутками, слышались учащенное дыхание и даже стоны. Видел я мало, да и как-то стеснялся видеть (на первых порах!).

Наконец наша скотоложеская телега остановилась. Стали по одной выводить моих компаньенок по путешествию. Последним вывели меня. Я ожидал увидеть нечто уголовно-достоевское, растрепанное и страшное. Но, напротив, те, кого я успел разглядеть, оказались довольно миловидными застенчивыми женщинами, которые явно смущались меня и прятали взгляд. Где же те смелые циничные матерки, где предложения с недвусмысленными деталями? Все это исчезло, как только исчезла между нами железная стенка воронка. И осталось только: молчаливая, серая толпа, нагруженная чемоданами и мешками, в бесформенных ватниках или зипунах скорее деревенского, чем городского вида.

Нас построили в ряды, по пятеро в каждом. Я был последним и без ряда. Оглянувшись, я увидел, что воронок наш стоит в длинной очереди таких же черных машин, из которых вываливаются зэки и зэчки и строятся в те же самые пятерки. Вся эта процессия стоит между железнодорожными путями, отгороженная от внешнего мира сетками и рядами проволоки. Вдали слышались какие-то окрики и лай собак. И вот вся эта длинная очередь, вся эта серо-черная колонна начала двигаться, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Волоча на горбу свой рюкзак, я и не заметил, что пейзаж вокруг вдруг переменялся — наша процессия вступила в полосу ярчайшего света, сотни прожекторов били в глаза, освещали сзади и сбоку. Через головы можно было видеть, что колонна движется в коридоре, ограниченном железнодорожными путями, и вдоль всего пути стоят солдаты с автоматами и овчарками.

Темп движения внезапно резко увеличился, солдаты начали бешено кричать, разъяренные псы надрываться от лая, а

воздух наполнился пылью, топотом, запахом пота бегущих и подгоняемых эзков. Увлекаемый общим движением, я потерял чувство времени и пространства, казалось, этот бег никогда не кончится, что еще мгновение — и я просто упаду. Вдруг мне показалось, что мой мешок стал намного легче, будто что-то вывалилось из него. Краем глаза я заметил чью-то руку, поддерживающую его за лямку. Оглянувшись, я увидел блеснувшую в свете прожекторов белую полосу зубов и сквозь тяжелое дыхание уловил шепот: "Не оглядывайся, а то упадешь, папаша!"

Снова смена пейзажа — замелькали с двух сторон серые стены вагонов. Наконец остановились. Солдаты, но уже без овчарок, сбивали людей в кучи у входа в вагоны. Обычные вроде вагоны, но до чего высокие у них оказались ступеньки! Со второй попытки и опять не без помощи чьей-то руки я вполз на четвереньках на площадку. У входа в коридор стоял некто в мундире и с бумагами. Подталкиваемый сзади, я стал протискиваться мимо него, но был остановлен окриком: "Фамилия? Статья?" Услышав — "семидесятая", конвойный немедленно отделил меня от недовольно ворчавшей толпы и повел в самый конец вагона. Мельком успел разглядеть, что вместо стенок у купе были решетки, сквозь которые на меня смотрело, прижавшись к ним, множество лиц. "Столыпин" — мелькнуло и исчезло слово, столь знакомое и многозначительное. Грохотало железо под ногами, гудели сотни голосов — мужских, женских, детских, старушечьих и стариковских. Тяжелый мешок лежал на моих плечах, а вокруг за решетками стояла, смотрела, обсуждала, спрашивала движущаяся куда-то Россия.

...Поехала в сторону решетчатая дверца, и я очутился в узкой клетке без окон, но с двумя деревянными полками. Соседей по купе видеть я уже не мог, но слышал их оживленные переговоры. В Москве была глубокая ночь. Ворочались в своих постелях после очередного приема Брежнев и Косыгин. Плисецкая, разгримировавшаяся и опустошенная, массирувала натруженную за вечер ногу. Распечатывали очередную бутылку у Таривердиева; процессия женихов и не-

вест одна за другой вступали на Красную площадь, вылезая из своих разукрашенных надутыми шарами и лентами машин. Обычная московская ночь... Тысячи людей были загнаны под лай овчарок в зарешеченные железные ящики на колесах. Затравленные, измученные бегом и страхом, стиснутые собственными жалкими пожитками и телами, они стояли, сидели, лежали, а мимо проплывал один из самых огромных городов мира...

Четыре стены, четыре угла,
Четыре судьбы у меня,
В холодной печи чуть тлеет зола,
Память тепла храня.

О, пестрый, многоцветный Ур-Касдим! По улицам твоим несутся всадники, снуют прохожие, подметая пыль черными, белыми, сиреневыми, оранжевыми одеждами, трусят мелким шагом понурые ослики и плывут надменные профили верблюдов.

Весь мир перед тобой, Авраам! Все, что ни есть прекрасного и удивительного в мире, все, что ни есть загадочного и извращенного, — все привозится и провозится тайком через заставы в Ур. И все это для тебя, мой наследник и избранник. Все есть у тебя — стада овец и толпы рабов, любимая жена и белолицые наложницы. Надоели тебе чувственные радости — вот соберу я мудрецов, и лунной ночью поведут они тебя в храм, и с высоты башни откроется тебе небесный и земной мир, прошлое, настоящее и неведомое будущее поведают они. И Луна станет твоей покровительницей. Так зачем же ты просишь отпустить тебя туда, где на горах, покрытых чащами, веют незнакомые ветры, где люди, как звери, обитают в пещерах? Нет там жирных притираний, благовонной розовой воды, нет там охры, что окрашивает твою бороду, нет там служительниц любви в прозрачном виссоне, сладкоречивых поэтов, громад лунных храмов и зелено-голубых бассейнов. Здесь твои речи возмущают и оскорбляют благочестивых лю-

дей, но они слушают тебя, несмотря на бессмысленность и кощунственность слов твоих. Ищешь ты Божественность, рассеянную по Вселенной, Бога, не воплощенного в свое творение.

Разве это возможно, разве это разумно? Тысячи тысяч богов окружают нас и пронизывают каждую вещь. Строгой громадой зиккурата возносится их Система к Небу, где сияют Владыки Ночи и Дня. Тысячи тысяч лет веруем и ощущаем мы всю силу и справедливость нашей Веры. Зачем же гнаться за чем-то эфемерным и несуществующим? Вижу я упрямые глаза твои. Отщепенец и бродяга ты от рождения. Выродок славного дома нашего. К кому на далеком Юге ты будешь взывать? Овцы будут твоими слушателями и волки твоими судьями. Здесь ты муж, умудренный — там младенец, не умеющий даже лепетать. Не удерживаю я тебя. Иди, и прародительница Вселенной даст тебе силы. Стань же мудр и гибок, как змея, выскользни из старой кожи и стань владыкой над скалами, обожженными солнцем. Разбей шатер свой под оливами, впитай воздух чужой и сделай его своей сутью... И все же, все же — до конца дней твоих сохранит речь твоя печать Ура Касдимского. И улыбаться будут дети, слушая твои нескладные бормотания.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Потьма... Сумеречным синим утром впотьмах заскрежета-ли, застукались буфера вагонов. С высоких подножек мы скатывались на широкую площадку между путями. Ранние прохожие прохаживались по перрону, почти не обращая внимания на привычную деталь потьминского пейзажа. Только немногие любопытные сгрудились у перил переходного моста, что навис ажурной сеткой, напоминая пролеты Лефортова. Стайка солдат, прохаживаясь между эсками, заставляла нас приседать на корточки. Я видел, что несколько старушек — для них такая поза была, очевидно, странной и непривычной, — стали на колени. Сержант заставлял заводить руки

на затылок. Вот в такой странной позе мы находились примерно полчаса. Интересно, кто это изобрел позу, заставляющую человека чувствовать свою беспомощность и унижение? Затем последовала лающая команда и, понукаемые ею, все встали и по-прежнему с руками, заложенными за голову, двинулись куда-то в сторону от станции. Если у ээка был чемодан и он нес его в руке, вторая рука все-таки оставалась на затылке.

Я случайно взглянул на солдата, шагавшего рядом. Он шел с автоматом наперевес и злобно выругался, когда я взглянул прямо в его глаза. "Чего глазеешь, сука!" Что это, страх или подсознательное чувство вины? Краем глаза я смотрю на мальчишеский профиль. Лихо сдвинута набок пилотка. В одной руке "Калашников", в другой поводок, натянутый огромной, откормленной овчаркой. А с правой стороны в моем ряду бабушка в бархатном зипуне в талию волочит свои пожитки, сложенные в холщевый мешок. Самогонщица, получившая пять лет лагерей, где скорее всего и закончит свой путь. Юность и почтенная старость России...

Снова воронки. Уже без разбору нас запихивают в них прикладами и кулаками. Воронок прыгает по ухабам. Мы стиснуты собственными телами и пожитками. Слава Богу, а то не обошлось бы без переломов рук и ног. Это ведь не московский асфальт, а честная русская грунтовая дорога. Прибыли. Приземистое здание потьминской пересылки известно всему тюремному населению России. Такой зловонной и сырой дыры я не запомню, хотя потом имел возможность попутешествовать через всю этапную Сибирь. Но и в этой тюрьме — смешно! — есть знаки времени и прогресса XX века. После обыска (опять раздевание догола) два мента ввели меня в широкий полутемный коридор и... о, чудо! — против входа засветилось огромное табло, как на стадионе. Зажглась цифра 4. Менты подвели меня к камере, на двери которой и впрямь был номер 4. Во как! Неужели и компьютер здесь есть, что распределяет ээков по камерам?! Новая техника — великая сила. Особенно когда имеешь дело с больши-

ми массами наказуемых или истребляемых людей. Схватить просто, осудить просто, а вот потом "обработать" всю эту людскую массу — использовать или истребить, — для этого уже требуется технический прогресс. Дайте людоеду компьютер, и он высчитает, сколько граммов человечины нужно потреблять каждому члену будущего прекрасного общества в зном году зного столетия...

Поначалу я оказался один в огромной камере. Стены, заляпанные подписями, датами, надписями любовными, циничными, угрожающими и просто бессмысленными. Огромная параша — целый чан со сломанной крышкой. Центральные нары — как широкая эстрада — и боковые — словно разросшиеся полки купейного вагона. Словом, тюремная классическая архитектура и дизайн. Нары были столь грязны и заплеваны, что даже после всей грязи Лефортова и этапа я не решился на них сесть. Прошло несколько минут, и я занялся изучением срамной настенной литературы: "Не забуду тебя Нюся — твоя любовь — Маня". "Ебись ты в рот, Брежнев!", "Коля, я пошел на этап — Игорь 3.02.72 г." "Меня сегодня выебли в жопу хором" (без подписи) "Подгорный — хуесос!" "Иван, я иду в Горький — Жорж". "Бей жидов — спасай Россию!", "Брежнев — пидорас". "Все хохлы — суки!" "А кацапы — козлы!" (обмен межнациональными любезностями). "Хвош — козел, дал мне за пайку серого. Стив". "Олег, жду тебя в Потье. — А." Все армяне — жопошники". "Люблю тебя, Россия!" "Я ебал следователя Земцова в сраку!" "Терешкова — блядь и сука!" "Смерть КПСС!"

Увлеченный чтением столь необычной для меня литературы, я не заметил, как постепенно стемнело. Зажглась знакомая ярчайшая лампа над дверью. Загремел замок, и в камеру вошел очень высокий светловолосый человек. По повадке, взгляду, уверенности сразу было видно, что это не зеленый новичок, а старожил тюрьмы. На вид было ему лет тридцать пять-сорок. Вещей у него не было — только кружка и ложка болтались на поясе. Мы представились друг другу. Он оказался литовцем. В полной уверенности, что он из новой волны националистов я спросил о том, что происходит сейчас в

Вильнюсе. И выяснилось, что он сидит уже... 35 лет (с перерывами, конечно). "Сколько же вам лет?" — "Пятьдесят пять, — последовал ответ. — Не удивляйтесь: тюрьма — отличная консервная банка. Мне было двадцать, когда меня взяли. Я ведь из "Зеленых братьев". Я был женат тогда — всего месяц. Больше жену я не видел. Она погибла через девять месяцев, родив дочь. Но и этого я не знал. Потом годы, Сибирь, побег, снова Сибирь и снова побег. Сейчас уже пятнадцать лет в Мордовии. На спецзоне. Я ведь политрецидивист со стажем".

Я спросил, почему он в гражданской одежде, а не в зэковской. Он махнул рукой: "Это все воспитатели". — "???" — "Да, КГБ решило меня воспитывать. Одели в гражданку и послали со спецконвоем в Вильнюс на встречу с дочерью. Город показали, в театр водили. Все интересовались — буду ли заниматься "деятельностью", если отпустят". — "Ну и?" — "Не могу я там жить. Вида их оккупантского не переносу". — "А дочь?" Он помолчал. "Что дочь! Пришла симпатичная молодая девушка. Чужая. Все плакала. А в груди у меня лед". — "Сколько осталось еще?" — "Два года". — "А потом?" — "Не знаю. Уеду подальше, в Сибирь. Если дадут уехать. Боюсь, я не смогу жить на воле". Я не понял. "Вида людей боюсь, их слов. В зоне мне все ясно, как говорить, с кем говорить, о чем говорить, чего опасаться. А на воле все страшно — машины, трамваи, бабы с накрашенными лицами. А я к мальчикам привык. На воле и за это наказывают". Воцарилось неловкое молчание. Я еще не привык к открытости тюремной жизни, где не скрывают своих пристрастий. В замкнутом мире скрыть ничего нельзя.

Хлопнула кормушка. Подали баланду. Мы (Пауль и я) примостились на относительно чистом краешке нар. Молча выхлебали жижуху, в которой плавала синяя крупа и нарезанные зеленые помидоры. Потом он спросил: "Чай у тебя есть?" Я вытащил забытый лефортовский фунтик. Пауль досадливо крякнул. "Разве это чай?" Порылся в кармане пиджака и извлек смятую стограммовую пачку со слоником на обертке. Тут я впервые в жизни увидел, как варят чифирь. Пауль высыпал чай в кружку, залил водой из чайника, что

нам дали вместе с баландой. Затем потребовал у меня бумаги. В рюкзаке моем были какие-то старые тетрадки, лефтортовские. Он взял их, разодрал, соорудил на крышке параша какое-то подобие костра. Довольно быстро вода начала кипеть, а стенки кружки покрылись черной бумажной сажей. Пауль достал из кармана брюк две конфеты и одну вручил мне. Затем предложил пригубить из кружки. Жижа была очень горячей и горько-терпкой. Я видел, как у Пауля дрожали руки, когда он держал кружку. От второго глотка я отказался. "Не понравилось? Понравится еще". Медленно, смакуя, он стал тянуть глоток за глотком. На моих глазах выражение его лица менялось. Глаза заблестели, появилась рассеянная улыбка. Щеки порозовели. Сейчас ему можно было дать не более тридцати лет. "Раньше за чай в тюрьме людей убивали, прятали его, как драгоценность. Теперь они (Пауль показал пальцем на дверь камеры) поняли, что это великая сила. Без жратвы на одном чае зэки могут горы свернуть. Наркотик он, что ли? А все равно — выпил, и жизнь другой кажется, хоть и обман все это. Ну, давай дрыхнуть". Я возразил, что спать в этой грязи невозможно и нужно сначала навести порядок и вообще потребовать матрас и постель. Пауль с интересом посмотрел на меня. "Нет, все-таки вы все какие-то другие. Да, кто тебе не пересылке матрас и постель даст? Хочешь, чтобы врезали?" Предостережение опытного человека — дело существенное, но год в Лефортове тоже не прошел для меня даром. У каждого времени свои приметы, своя мода. В советских тюрьмах тоже. Поэтому я подошел к железной двери и стал тарабанить в нее ногой. Минут через пять кормушка открылась. "Ну, чего тебе?" — "Вызовите корпусного!" — "Это еще зачем?" — "Требую соблюдения внутритюремного распорядка. Камера грязная, нет матрасов и постели". Кормушка с силой захлопнулась. Пауль улыбался, блестя глазами. "Ну, что я тебе сказал!"

Послышался топот сапог по цементным плитам. Загремел замок. Пауль поспешно встал. Лицо его, только что спокойное и беззаботное, превратилось в напряженную белую маску. В камеру вкатилось несколько ментов. Вошедший первым

маленький, черноватый капитан спросил: "Фамилии? Статьи?" Уставившись на меня с любопытством, еще раз переспросил: "Сионист, стало быть?" Тут уж я не выдержал и в ответ почти заорал: "Кто вы такой? Я просил корпусного и бумагу, чтобы подать жалобу начальнику тюрьмы на нарушение внутритюремной гигиены. Что мы, свиньи, что ли?!" Капитан передернулся. "Я и есть начальник тюрьмы". — "Я требую, чтобы вы назвали свою фамилию, чтобы я мог подать официальную жалобу". — "Иоффе моя фамилия. Можете подавать жалобу куда хотите... Дайте им матрасы и постель, и веник, а то этот, — он ткнул в меня пальцем, — будет потом клеветать в Израиле, что его тут пытали". Ментовская кодла выкатилась из камеры.

Так я познакомился с еще одним собратом по крови, верным служакой — капитаном Иоффе, начальником Потьминской пересылки. Удивительно, но тут я впервые почувствовал, что советская пенитенциарная система имеет свои слабинки. И они тоже хотят выглядеть людьми в глазах "загнивающего" Запада! Разве подобная сцена была возможна в 50-е годы? Они бы тогда меня просто замордовали, да и Пауля впридачу. А тут мы оказались с веником, матрасами и даже с серыми простынями и подушками в наволочках.

Тихая Потьминская ночь. Где-то взлаивают собаки, слышны мерные шаги коридорного. На краю подметенных нар скрючилась сутулая фигура Пауля. В руках его кружка с давно остывшим чифирем...

Из корня, изувеченного жизнью,
Пророс росток зеленоглазый...

Тягучий скрип ворот... Они открываются медленно и неторопливо. Вдоль глинобитных бараков уже выстроены рабы. Надсмотрщики, поигрывая плетками, подгоняют отставших, выползающих из землянок и избушек. Торопитесь, торопитесь — сегодня последние блоки будут уложены в вершину Вечного дома Владыки Мицраима. Еще до восхода солнца,

еще до одуряющего жара его лучей в сонном синеватом воздухе проплывут — на плечах рабов, согнанных из земли Гошен, — проплывут каменные блоки и заполнят оставленные для них ниши. Возможно, сам Владыка Мицраима будет наблюдать этот последний этап двадцатилетнего Чуда — возведения его загробного дома...

А потому торопитесь, ибримы, народ чуждый и странный. Пригретый и возвеличенный прежними владыками народ, обнаглевший и сытый, владевший самыми плодородными землями, народ, чьи дети стояли по левую руку трона Владыки и своей хитростью и пронырливостью оттесняли истинных уроженцев славного Мицраима. Дело дошло до того, что во всех школах жреческих, где обучали божественному искусству письма и чтения, везде были эти всезнающие ибримы, важно восседавшие во главе класса и нередко хлеставшие непослушные пальцы новичков бамбуковой тростью. На всех свитках священных, на всех грамматиках оставили они свои следы и имена чужеземные. Но пришел их час к закату. Нынешние владыки Мицраима преодолели волшебство влияния чужеземцев. "Довольно! — сказали они. — Наш священный Мицраим, политый потом и кровью славного тысячелетнего народа, окружен с Востока и с Запада врагами. Все зарятся на Божественный Нилус, что каждую весну оплодотворяет своим семенем черную Праматерь — Землю. А тут еще и внутри нашего дома сидит чужестранное, надменное в своем всезнайстве племя. И еще более нестерпимо, что эти выходцы из далеких земель вкрались хитростью и лукавством в самое сердце нашего Знания, коверкают на свой манер наши обычаи и культуру. И не важно, что многие из них взяли наши имена и забыли свой язык и что уже десятое их поколение топчет нашу землю. Были они ибримами и останутся ими, хоть и зовутся на наш мицраимский манер — Мехи, Хонсуэнхейб, Саамони, Менхеппер. Все знают, что под этими именами скрываются их ибримские Авраам, Ицхак, Яков, Иосеф".

Какое это было счастье и всенародное ликование, когда мудрый и божественный Владыка, чье имя всегда будет благословенно, согнал ибримов с их плодородных земель, выб-

росил ибримских учителей из школ и храмов, очистил свой дворец от их тлетворного влияния. Толпы этих новых рабов пылили по дорогам Мицраима к месту, где, по повелению Владыки, начали строить его Вечный дом. И не делали различия между грамотеем-ибримом и землепашцем. Все они должны были жрать ту же похлебку и так же тянуть каменные блоки, впрягаясь вместе с волами и ослами. Весело было смотреть и слушать их стенания и жалобы, когда их руки, привыкшие только держать тростинки, покрывались мозолями и кровавыми язвами, когда падали они под тяжестью камня и дерева. Но вот что странно мне, старому и заслуженному надсмотрщику, через руки которого прошли сотни и тысячи рабов со всех концов Вселенной. Что делает раб, изнуренный положенным ему дневным уроком? Он ложится и спит или хитростью промышляет лишнюю ложку соевой похлебки. Эти же вечерами собираются в кучки около глинобитных лачуг, зажигают лампы и в неверном их свете что-то читают на своем ибримском наречии. Сколько раз отбирали и бичевали мы их за это занятие, а свитки все появляются и появляются. И никто из нас не знает и не понимает, что в них начертано. То ли заклинания, то ли волшебные заклęcia, то ли бесполезная чужеземная мудрость? Торопитесь же, торопитесь, всезнайки и гордецы, даже и в постигшем вас несчастье сохранившие заносчивость и самоуверенность! Сегодня придет ваш последний час. Только закроются последние ниши в теле Вечного дома, что возносится над плоским песком, как сгонят вас всех в огромную яму и сожгут во славу Владыки, чтобы никто не знал великих секретов, похороненных в стенах Дома... И буд...

Старый надсмотрщик не смог закончить свои лениво текущие мысли. Что-то обрушилось на него и смяло. И золотистый диск солнца парил над толпой торопливо уходящих в пустыню ибримов.

“Вечером ложились мы рабами — утром проснулись свободными людьми...”

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Зона... Многократно слышанное и прочитанное слово обернулось для меня серой, унылой дощатой стеной, в которую почти уткнулся воронок. Ты знаешь, первое чувство, что я испытал, — было облегчение: наконец-то после дикой тряски в этом железном ящике, прыгавшем почти два часа по корням и бездорожью, наконец-то под ногами твердь земная. Пока меня вводили в узкую дверь, я успел увидеть, что ворота зоны медленно распахнулись и пегая лохматая лошадь протащила мимо меня телегу, нагруженную бултыхающимися зелено-бурыми канистрами. Самое удивительное, что лошадь была без возчика. Медленно, ни на кого не глядя, прошествовала она и повернула за угол какого-то строения. Из ворот вышел некто в мундире, узкий, худой, удивительно напоминавший немца из фильмов об Освенциме и Майданеке. Тот же белесый взгляд, острый крысиный подбородок, та же манера носить фуражку — низко надвигая на узкий длинный череп. Блестящий лак сапог. И в руках у этого киногероя была... трость. Ворота закрылись столь же таинственно и бесшумно. Мент, похожий на немца, не взглянув, прошел мимо меня, погружая свои блестящие сапоги в густую желтую пыль.

"Ну, волосы твои, конечно сгорят!" — сказал маленький седоватый парикмахер, смахивая на пол остатки моей не очень густой шевелюры. Первая процедура перед входом на вахту — всеобщий постриг. Пока меня стригли, два мента рылись в рюкзаке. Пропустили очень немного: книжки, пару белья, консервы. Все остальное — и даже симпатичный шерстяной свитер — будет гнить на складе "за зоной".

Закончен шмон, закончен постриг. Отворилась внутренняя дверь вахты. Вот и мое обиталище на три года. А может, и на более короткий срок. На пересылке кто-то когда-то сказал, что политических не любят держать долго в одной зоне. "Бросают" в разные углы, чтоб не успели организоваться.

Зона... Первое, что я увидел, — зеленые ветки то ли кустов, то ли деревьев, узкие полосы травы на газонах. И понял, как истосковался по краскам и запахам трав и листьев там, в серо-

бурой гамме Лефортова, воронков, "столыпиных" и пересылок. Даже желтая пыль, тут же налипшая на мои копытоподобные ботинки ("говнодавы", по меткому матросскому выражению), и та казалась мне милой. Низкие выбеленные бараки теснились вдоль рядов колючей проволоки. А там снова взбороненный песок и за ним серо-желтый забор. Вышки с черными проемами окон. И тишина. Ветер несет откуда-то запах сосны. Зона...

Я сам, впервые без конвойного, пересек изрытый колеями проход между бараками и поднялся по ступенькам к двери, где висела коряво начертанная табличка: "Библиотека... часы работы..." Все было ветхое, пропыленное, забытое временем. Скрипели под ногами разошедшиеся половицы, покосившиеся перила крыльца грозили обвалиться от неосторожного прикосновения. Тлен... Но в тот момент я не воспринимал так все эти признаки запустения и чувствовал только одно — иллюзию Свободы. Впервые за много месяцев без рук за спиной, и никто не топчет сзади, и нет взгляда, просверливающего затылок. И, главное, вокруг было пустынно и тихо, и ни одной души человеческой рядом. Господи, как это нужно человеку — быть наедине с самим собой — и чтобы никто, ни далекий и ни самый близкий не глазел и не касался ни руками, ни словами, ни смехом и ни печалью, ни жестокостью и ни нежностью — не касался моего я...

Дверь ввела меня в темный коридор, где между рядами дверей блестели круглыми боками черные колонообразные печки. Запах затхлости и плесени встретил меня. В одну из дверей, обитую тряпьем, я вошел наугад и оказался перед сидящим за столом человеком с полноватым лицом и респектабельной седоватой бородкой. Лицо человека удивительно напоминало кого-то из начала века — то ли Столыпин, то ли Кони, то ли Луначарский. На плечах "старорежимной" личности был, впрочем, вполне подходящий к случаю и месту — эзковский ватник. Федор Васильевич оказался "нарядчиком", то есть распределяющим работу и жилье служащим из заключенных. С первого взгляда чувствовалась основательность и долговременность пребывания в зоне этого чело-

века. Тон благожелательно-осторожный, хитроватый оценивающий и насмешливый взгляд, как бы говорящий: "Ну-ка, посмотрим, как этого еврейчика поломает зона!.." Упитанные старческие щечки двигались, и я услышал странные слова: "Ну на работу ты завтра выйдешь, а поместим тебя во втором бараке, вместе с твоими ребятами..." Заметив мой недоумевающий взгляд, он продолжил: "С единокровцами твоими то есть..." Я спросил его об адресе зоны. "Ну, а это ты получишь у цензора".

Интересный человек Федор Васильевич! Устроенный и благовоспитанный, лояльный ко всем, на работе приятной и не пыльной, сидит себе в теплой комнате. Вокруг книги — да это и вправду библиотека! На полках — рядами переплеты "огоньковских" полных собраний — Горький, Пушкин, Шевченко, Лесков... Такая же полка военных детективов, многотомные сочинения Основателя — то бишь Ильича. Брошюрки, брошюрки — крокодильские выпуски "Сатира и юмор", подшивки журналов — "Техника — молодежи", "Вокруг света", и, конечно, "Крокодил", "Огонек", "Работница"...

Сапоги у Федора Васильевича блестят, одежда чистенькая и отвечающая приказу № 20, то есть внутренним правилам тюремного распорядка. Где нужно ушито, где нужно — распушено, на левой стороне пришита табличка с фамилией, на рукаве отличительные нашивки. Чисто, благолепно, благонамеренно... И в то же время шепотком: "Думаешь, коммунисты выпустят тебя в Израиль? Ну-ну... В добрый час!"

А лет тридцать назад, когда еще тугая кожа обтягивала скулы и на плечах вместо ватника живописно красовалась мохнатая бурка, гарцевал Федор Васильевич в Крыму перед полком таких же молодцов из армии Власова. Командовал, направлял и был на виду у немецкого начальства — строгий, подтянутый, идеальный исполнитель. Дослужился до полковника. Нет, гражданских не казнил. Не марал рук. А вот ошибочку сделал — к Власову ушел. Не верил в прочность Советов. Уж больно быстро они стали разваливаться в 41-ом. "Не рассчитал, вот и сижу двадцать три годика. Еще два трубить". Федор Васильевич встал, медленно прошелся по комна-

те, неслышно ступал по скрипящим половицам. "Ты того — потише себя веди... глядишь, и помилуют..." Он выжидательно посмотрел на меня. "А если с начальством поладишь, то как по маслу твои три годика здесь пролетят..." Глазки Федора Васильевича напряженно блестели, а пальцы беспокойно перебирали какие-то брошюрки на столе. Я посмотрел на него, — видимо, мой взгляд показался ему слишком красноречивым. Он махнул рукой и пробормотал: "Все вы, новички, такие! Жизнь тебя еще обкатает!"

Я вышел из библиотеки и снова с наслаждением вдохнул сосновый воздух, прилетевший из бора. Со ступенек высокого крыльца можно было видеть верхушки беспокойно трепыхавшихся сосен. Только сейчас я заметил, что в зоне довольно много травы, но деревья все чахлые, низкорослые. Около двух жилых бараков, под их окнами виднелось нечто подобное то ли клумбам, то ли грядкам. О них стоит рассказать особо, но это в следующем письме.

А пока представь себе место, где мне предстоит жить три года. Дверь впустила меня в темные сени. Из них я попал в большую казарму, на дверях которой было написано: "Камера № 2 — 125 человек". Вдоль широкого прохода расположилось четыре ряда двухэтажных солдатских коек. Все или почти все были застелены. Я увидел, что в современной зоне есть подушки, одеяла, простыни. Потолок подпирали деревянные колонны. В дальнем углу чернела железная пузатая печь. Рядом с ней приютилась этажерка с книжками и небольшой стол. Кровати были расположены тесно — так, что проходы между ними были только для каждой пары. Между ними и в проходе вдоль всего их ряда стояли солдатские тумбочки. В общем типичная солдатская казарма. Ко мне подкатился какой-то маленький, сморщенный человечек: "Подожди, сейчас перерыв кончится, тогда койку получишь!" Я не понял, при чем тут перерыв, что за перерыв, но не стал спрашивать. В тюрьме стараются по возможности не задавать вопросов. Тут нельзя быть новичком, растяпой. Загнанные и терзаемые тюремными законами, попираемые двуногими в мундирах, люди ищут выхода для своей ненависти и боли. И легко нахо-

дят, притесняя и преследуя более слабых, странных, не приспособленных к жизни эков. Крысы, запертые в тесной клетке...

Захлопала входная дверь. Затапали сапогами, рассыпались по проходам между кроватями входящие обритые наголо незнакомцы, кидавшие мимоходом любопытные взгляды. Больше пожилых и старческих лиц. Нелепо торчат уши, носы, острые скулы, запавшие виски. Какие мы все одинаковые, симметричные, широкотазые, серовато-пыльные. Только через несколько дней вся эта масса рассыпалась для меня на отдельные лица, черточки, судьбы, отношения...

Четыре человека подошли ко мне, сжавшемуся у голого деревянного стола. Евреи, ибримы, собратья. Двое молодых, двое пожилых. "А мы не ожидали, что вас так быстро привезут!" — сказал один из них. "Мне мать рассказала на свидании о вашем суде... Впрочем, устраивайтесь, вот ваша койка. Это временно, пока Мишка из больницы не вернется, а потом на верхнюю придется перейти. Вы теперь часть нашей компании, а потому получайте свою пайку из общего иудейского котла..." Я, признаться, ничего не понял. Но один из иудейцев извлек из тумбочки плавленные сырки, какие-то кульки, пакетики, издававшие соблазнительные, нетюремные ароматы кофе, конфет, печенья. Медленными, но какими-то гладкими и ловкими движениями один из моих будущих братьев выделил "мою" часть из общей кучи, пояснив: все, что присылают из продуктов и вещей с воли — общее, наше, которое потом делится поровну между иудейцами. Остается, правда, небольшой общий фонд для чрезвычайных случаев вроде теперешнего (приход нового еврейца в зону) и для совместных трапез по праздникам. Говоривший поразил меня своим полным тучным телом, над которым возвышалось круглое и в то же время остропрофильное лицо с круто убегающим назад лбом и небольшими, иронически поблескивавшими глазами. Стиль его речи тоже был удивительный и давно забытый мной — смесь сочувствия и насмешки — то ли над собой, то ли над слушателем. И имя у него было странное — Лафарг. Я сначала принял это за фамилию. Не иначе,

родители Лафарга увлекались социализмом и социалистами. Отсюда у нас, родившихся в тридцатых годах, все эти имена — Жоресы, Лассали, Мараты...

Новые знакомые повлекли меня на обед в столовую. Снова поразила меня эта тюремная масса одинаково-разных людей — круглоголовых, лопоухих, с серо-желтыми лицами. Выстроившись в длинную очередь, все стояли, прижимая к груди миску и ложку. Из раздаточного окошка выглянула такая же круглая остриженная голова, и очередь заворчала и зашевелилась. Потом я понял, почему: все старались попасть в голову очереди. Самые наваристые части похлебки плавали сверху и, естественно, доставались первым. Снова я почувствовал, как тонка пленка цивилизации нашей. Как мало нужно, чтобы пробудить животные первичные инстинкты самосохранения. Общая теория относительности, специальная теория относительности, нейронная теория, Кант, Рассел, где вы все? Неужели вы тоже тут, в том же мозге, что толкает этого в серой телогрейке с алюминиевой ложкой в руке тесниться и пробиваться в первые ряды голодной очереди? Серо-грязная жижа похлебки капала в тарелки, стекала по морщинистым губам, шлепавшим над беззубыми ртами. На зубах скрипела пыль тюремного мокрого хлеба. Последние номера в очереди уныло переругивались с раздатчиком.

Нужно привыкнуть, нужно стать как все, жевать, шлепать губами, скрыться под серой телогрейкой, выжить, выйти... Но об этом завтра, потом, в новом письме.

Багровый шрам луны
над синей тишиной
И серебро росы на проволоке
колючей...

Из грубой глины и белых твердых камней, из мягкого ила и текучих вод слепил Господь неуклюжую куклу. Наделил ее дыханием и мыслью; налились мышцы движением, заструилась под шершавой кожей кровь, миллиарды клеток

запели песню Жизни. И был Первый на Земле гармонией, заключенной в самой себе. Единственный образ и единственное подобие. Подходил он к зеркалу вод и трогал грудь свою, покрытую золотистым пушком, гладил бедра свои, и отзывалось тело желанием. И взмолился и пал на колени свои: "Господи, создай образ и подобие мое, создай двойника моего, чтобы мысль моя удвоилась, чтобы переливалась любовь моя в другое мое подобие, чтобы мог я ощущать тело свое в другом, чтобы речь моя порождала другую речь, чтобы дыхание мое смешивалось с другим дыханием..." И разгневался Господь и взревновал к своему Созданию. "Я — только Я — зеркало твое, я и только Я — образ и подобие для тебя!" И навел на первочеловека сон глубокий. Врезал грудь его и вынул ребро, одел его жиром, напоил кровью, окутал шелковой паутиной кожи... И пробудился Адам — и видит новое Создание рядом. Все, как у него, и все — отличное, иное. Округлые скулы покрыты нежной кожей, грудь — словно два округлых плода, гладкие мягкие бедра, маленькие нежные ступни. Дотронулся Адам и ужаснулся — словно болотистая почва, заколебалась грудь создания, мягкие руки словно щупальца обвили его шею, тяжкий запах исторгнуло лоно... И смеялись ангелы Господа над ужасом Адама. Озлобился он и вознегодовал и ушел в густую чащу сада Эдемского. И вот видит — спускается к нему по ветке змея медно-чешуйчатая. То сам Сатана, слуга Господа и враг Его, пришел утешить Адама.

И сказал Сатана: "Вот Господь, создавший тебя, посмеялся и показал свою силу. Не двойника он создал тебе в спутники, но Создание иное, противоположное, чьи желания и природа сама навечно останутся сокрытыми для тебя. И не только тебя, но и то, другое создание, обрек Создатель на вечные муки — ведь и для этой, что зовут Евой, твоя природа — также вечная загадка. Неужто не отомстите вы Господу?"

Испугался Адам этих слов и бежал от Змея. Но тот заскользил по ветвям и спустился к Еве. И научил ее Сатана — приманить Адама яблоком желания, соединиться с ним и создать через соединение это двойников для каждого из них.

И стало так. Приманила Ева Адама яблоком и зачали они в эдемском саду и родили детей своих — двойников по желанию своему. И разгневался Господь и послал Ангела — изгнать создания Свои из Сада эдемского. В муках стали рождать женщины, и само желание естественное и изначальное — любить себе подобного — было проклято и объявлено вечным грехом. Но в недрах сознания каждого на Земле таится вечное и священное желание — найти двойника своего, двойника по телу и по духу. И у многих поднимается это желание из глубин на поверхность и рождает Прекрасное — в музыке и образе, в духе и в движении... Но Ангелы ревнивого Господа следят, чтобы создания Его сами проклинали и наказывали желания свои. А тех, кто не скрывает эти желания, сделали люди изгоями и преступниками.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Утро. Раздается наигранно-бодрый голос дикторши: "С добрым утром, товарищи!" Звучит игривый марш. Сумрак ползет в подслеповатые решетчатые окна. Разом вспыхивают ряды двухсотсвечевых ламп. Барак наполняется сопением, кряхтением, скрипом коек, зеванием. Висит кислый утренний запах многих нечистых тел. Полощутся простыни-перегородки. Это новая для меня деталь здешнего быта. Койки расположены вплотную одна к другой. Практически люди оказываются как бы в одной большой постели. Весь день в замкнутом пространстве лагеря они сверлят друг друга взглядами, сидят за одними столами, сталкиваются в нужниках и в цехе. И даже ночью пенитенциарная машина запихивает их под одно одеяло. Социалистический идеал "воспитания" в коллективе. И вот, чтобы хотя бы ночью быть у себя в своем собственном пространстве, в своей Богом данной нише, — эки навешивают перегородки между тесно сдвинутыми постелями. Вечером барак кажется скопищем детских кроваток. Каждый спит в своем уютном гнездышке, защищенном от соседей бело-серой стеной простыни. Утром простыни быстро снимаются, чтобы барак являл собой зрелище привычно-

казарменное. Нужно успеть быстро натянуть на себя одежду, зашнуровать ботинки: по проходу уже бежит Черепаха. Нет, это не прозвище. Это фамилия весьма шустрого надзирателя. Маленький, широкий, скуластый, с блокнотом в руке, он быстро записывает фамилии недостаточно расторопных на подъем. Значит, будет рапорт — хлеб надзирателя и очередное лишение для зэка. У кого-то не будет посылки, у кого-то — свидания с матерью или женой.

По бараку ходят кошки. Одна из них почему-то решила, что я ее хозяин, и теперь постоянно спит со мной. Поверка. Каждое утро нас считают. Выстраивают в колонну по пять, и очередной надзиратель с бумажкой и карандашом борется с четырьмя арифметическими действиями. Вокруг нашей колонны, поеживающейся от утреннего заморозка, расселись кошки и ожидают. Раздается веселая венская полька Штрауса. Колонна приходит в движение. Это зарядка. В серых телогрейках ковыляют и приседают под задорную музыку старики, сидящие по двадцать пять лет. Один бредет на костылях сзади. Под музыку, бодро, вокруг барачных, вдоль колючей проволоки, вдоль запретки. С вышек свешиваются головы солдат-часовых. Бесплатное развлечение. А впереди колонны ковыляют кошки.

Всему бывает конец. Зарядке и поверке тоже. Теперь можно умыться и, может быть, выпить чаю и чего-нибудь пожевать. На маленькой кухоньке с одной плитой — столпотворение: 200 человек одновременно пытаются вскипятить чай. Есть на плите место более горячее и менее горячее. Нужно вовремя успеть подвинуть свою кружку на раскаленное место. Это не по моей проворности. Впрочем, я еще расскажу о тутошней еде. Это дело серьезное, если не основное в лагере. Как не быть голодным — целая наука, а как из дерьмовых продуктов приготовить сносную пищу — это уже искусство.

Осенний сиреневый сумрак, грустный рассветный запах. В дальнем конце жилой зоны распахнуты покосившиеся ворота, ведущие к исправлению и к свободе. Труд превратил обезьяну в человека, и он же своей волшебной силой преобразует опасного государственного преступника в простого советс-

кого человека. Мимо лозунгов вроде: "Исправился сам — помоги товарищу!" "Учиться, учиться и еще раз учиться!" — серо-пыльная толпа бредет в рабочую зону, в цех, к станкам. В длинном унылом здании бесконечной лентой протянулся конвейер. Вдоль него, сгорбившись над швейными машинами, сидят "швей-мотористы".

Худой, костлявый ширококоротый цеховой мастер врубил ток. Завизжали, загрохотали передачи, замелькали в привычных руках куски материи. "Видел когда-нибудь, как женщины шьют? — спросил меня мастер. — Ну, жена у тебя была?" Лафарг быстро подошел и ответил за меня: "Ну чего ты, Иван, привязался, — научим мы его!" — "Да мне все это по хую! Лишь бы процент был!"

Ужасно непослушные у меня руки. Меня обучают все. Подходит Лафарг и терпеливо внушает: "Тихо-плавно нажимай на педаль, словно сидишь в машине и ведешь ее на второй скорости". Жж-ии-г — иголка впивается в мой палец. Подходит Аврам. Он длинный, черный, с оливковой кожей правильного продолговатого лица. Интересный человек Аврам. Красивый. В первые вечера после ужина и до отбоя он прогуливал меня вдоль всей зоны и выспрашивал, и допрашивал, и выяснял. За долгий год молчания в Лефортове у меня, оказывается, накопились огромные говорильные запасы. Душа истосковалась по доверию. И виделась теплая, сильная, ласковая рука. Друг... И я говорил, говорил, говорил. А на третий вечер, когда я уже по привычке приготовился к длинной прогулке со словоизлиянием, Авраам равнодушно прошествовал к своей койке, вытащил какие-то тетрадки и уселся у стола в дальнем углу барака. Я попытался заговорить и даже, стесняясь, предложил пройтись. И тут я увидел такую глубокую издевку в его глазах, такую иронию, такой холод, что слова застряли в горле и я, недоумевая, отошел. Издалека, со своей койки, я увидел, как он весело заговорил о чем-то с Лафаргом, а затем они оба выкатились из барака.

Смешно, но я почувствовал себя преданным. Ах, какой же я все-таки был зеленый зэк, какой я еще был не-зэк! Так вот кого он мне напоминал! Моего старого сокамерника — пара-

шютиста Гришу, что так искусно пытался разговаривать меня и не смог. А вот Аврам сумел... В общем-то они были правы, мои собратья-иудейцы: мало ли кого присылают в лагерь и подсовывают в группу. Может, суку-провокаatora. Оливково-черный Аврам был нашим контрразведчиком. Роль свою он сыграл прекрасно, вроде бы все-таки поверил, что я — это я, но глубочайшая и едва скрываемаa обида отравила наши отношения с Аврамом. За все остальное время моей жизни в лагере я не сказал с ним и десяти-двадцати слов, притом это были не самые вежливые и ласковые слова. Издали я смотрел и наблюдал за ним — хитрым, умным, поразительно бесцеремонным и грубым. Но было в нем одно удивительное свойство, притягивавшее меня и заставлявшее прощать все.

Он защищал и присваивал все, что входило в его орбиту, все, что он считал "своим", даже если это нечто было чуждым и непонятным его прямому, как стрела, разуму и не поддавалось его сверлящей логике. Я был для него этим "некто" или, скорее, "нечто" — сомневающимся, колеблющимся, может быть больным, "поэтом", как иногда он полупрезрительно, полусочувственно говаривал, обращаясь к Лафаргу. В один из вечеров, когда мне уже стало ясно, что наше ежевечернее общение в первые дни было Аврамовой игрой в Интеллидженс Сервис, а отнюдь не приобретением нового друга, случилось то, чего и следовало ожидать: я по своей рассеянности и зелениости совершил непростительную оплошность, может быть, даже преступление по лагерным канонам: спутал свою наволочку с чьей-то чужой и, хуже этого, надел эту чужую наволочку на свою плоскую и твердую подушку. Дело в том, что в зоне, где я был, появлялся по пятницам огромный мешок, куда зэки сбрасывали грязное белье. Сначала меня брала жуть от этого зрелища: ковыляли старые убийцы, те, кто сжигал, расстреливал в Киеве, Минске, Умани, и бросали свои серо-белые тряпки в распластавшийся на полу на матрасник. И мне чудилось в их руках другое, чужое белье, белье тех, что лежали во рвах и ямах, плавись в печах, задыхались в душегубках... Пришлось и мне смешать свое тряпье с саванами убийц. Проблема возникла позже, когда в

субботу принесли чистое бельишко. Попробуй выискать в общей куче свое, такое же серое и влажное, так же пахнущее карболкой и хозяйственным мылом. По совету опытного Лафарга, вышел я на своих простынках и наволочках некие знаки — алеф и гимел, но, по-видимому, недостаточно постарался, и были они похожи скорее на русские "И" и "З". Поэтому при очередной раздаче, брезгливо торопясь извлечь из общей мокроватой кучи свое белье, я взял чью-то наволочку, где были вышиты те же роковые знаки: "И" и "З". Нужно знать лагерь, чтобы понять, какую я совершил оплошность, знать этот замкнутый мирок, где люди, завязанные безжалостной машиной в единый смрадный узел, пытаются всеми силами отделиться друг от друга и найти микроскопические щели между "своим" и "чужим". Именно поэтому так остро ненавидят в лагере воров, шарящих по тумбочкам, именно поэтому так презируют надзирателей и прочих имеющих власть обыскивать, раздевать догола, то есть разрушать границу между "своим" и "чужим". И вот я по идиотской небрежности сделал по существу то же: задел самую чувствительную грань тюремного мира, переступил черту своего и вступил на чужую территорию. Старый, в круглых подслеповатых очках, чем-то напоминающий карикатуры на проворовавшихся председателей колхоза в "Крокодиле" (и как я позже узнал, обслуживавший в свое время душегубки), зэк Иван Антонович с торжеством сдернул с моей подушки свою кровную наволочку и предъявил ее всему бараку, восседавшему в злорадном ожидании на постелях. И плотина прорвалась. Вся ненависть к миру, к судьбе, ко времени, к этим чужакам, к жидам, которых убивали и не добили — так что вот придется сидеть в одном лагере с ними — вся боль, вся злоба, узаконенная тюремной традицией, помноженная на зоологический антисемитизм, ненависть к "этим антилигентам" и ксенофобию, — все это бурным потоком обрушилось на меня. Я видел оскаленные рты, орущие, шипящие, выплевывающие сгустки слов, угрожающие, жалующиеся, рвущие спертый воздух барака, требующие немедленной расправы — убийства, пыток и уничтожения.

И вдруг в этот всеобщий хаос злобы и ненависти врезался картаво-зычный голос Аврама, он схватил меня за руку и потащил вдоль прохода, ведущего к двери. Ведя меня, он успевал отругиваться и, более того, перекрикивал всех: "Ну вы, гады, что набросились на человека, — сами ворюги, убийцы, он же не нарочно! Нужна ему твоя вонючая наволочка, у нас своих полно, видит он плохо — вот и взял по ошибке! Вы, бляди, — стукачи. А ты, Иван, — главная сука! Мы тебе десять таких рваных наволочек наденем на твою жопу!!" Выведя меня из барака, Аврам торопливо пробормотал: "Поголяй тут, пока они там прокипят!" Резко повернувшись, он исчез за мягко стукнувшей войлочной дверью.

Тихий ветер принес тревожные запахи леса. И я медленно побрел вдоль приземистых бараков. Солнце опускалось, малиново-серые облака застыли в ожидании вечера. Тени парили, и в их неверных, изменчивых контурах скрывались заборы, вышки, проволока, запретка... Осенние пушинки опускались, поднимались, перелетали в другой мир, туда, за ограду... Тихо, мирно, спокойно. И я впервые понял, какой великой милостью одарил нас Господь — свойством находить убежище там, где его нет и не может быть: в пыточной камере, среди горящих поленьев, гложущих живое мясо, на краю пропасти, откуда нет возврата. Для убежища достаточно ласковой руки ветра фиолетового всплеска заката, запаха сырой хвои. Для убежища достаточно намека, ассоциации — и исчезают боль, кровь, холод, ненависть. И только ты, твоя мягкая щека, покоится у меня на груди...

Ночь. Вскрикивают убивавшие и разгружавшие газовые камеры, ворочаются закапывавшие рвы с еще живыми людьми, мирно спит Иван Антонович на своей кровной наволочке, утешенный всеобщим сочувствием и новой еврейской наволочкой, выданной из общих запасов нашим интендантом — Лафаргом. И на ртутно-голубом пятне окна колышутся черные ветки. И моя кошка уже устроилась на одеяле — можно заснуть, исчезнуть, испариться...

Не спрашивая лечь,
Не спрашивая смежить веки,
Уснуть и не стеречь,
Что не сберечь вовеки.

Солнце склонилось к горизонту, плавно скользнуло вдоль далеких холмов и погрузилось в фиолетовый туман. "Первая звезда! Первая звезда" — эхом отозвались голоса в шатрах, рассыпавшихся вдоль вади. Шабат, первая трапеза. Потрескивают светильники в шатре Якова. Рядом с главой племени — любимый и поздний сын — Йосеф. Тонкоший, с густой кудрявой шапкой волос. И совсем не похож на своих старших братьев, тяжеловесных, ширококостных, бородатых, тугодумных. "Канаанец" — презрительно кривит губы Иегуда — четвертый сын нелюбимой Леи. Действительно, Север, где родились старшие братья, отпечатался в их медлительных, спокойных манерах, отразился в их белой коже, волнистых волосах, а этот, родившийся на земле Ханаана, отцовский любимец — темнокожий, с талией, как у осы, с грациозной женственной осанкой, словно пришелец из племени варваров, чьи шатры и лачуги виднеются вдали на горизонте. Пронырадонощик, вертлявый, кичащийся своей образованностью. Еще бы! Яков нанял ему учителей из далеких стран, из самого Мицраима, из Ашура, а они, старшие, должны дни свои проводить среди стад и комьев земли. Когда миновали положенные молитвы и вечерняя трапеза вступила в свои права, когда вино развязало языки и скрытые побуждения, — спросил старший из братьев — Реувен: "Правда ли, что брат наш Йосеф обучается иноземному письму? Правда ли, что учитель мицраимский рассказывает ему о землях далеких и сказочных? Если правда все это, то почему в субботний вечер сидим и скушаем мы за чашами вина и не слышим занятных рассказов? Ведь из наших стад мы платим этому учителю из Мицраима. Пусть же младший покажет, чему его обучают и заодно развлечет нас".

Нахмурился Яков, но промолчал. И тонкая, стройная фигурка Йосефа вынырнула из тени в полукруг света. Прикрыл

он тяжелыми веками свои огромные глаза. Затрепетали мохнатые ресницы. И гортанно-звонким голосом запел он свой рассказ: "Там, далеко, куда садится Владыка Неба, там за песками и горами Синая раскинул Господь свою скатерть, плоскую и широкую, без единой морщинки. Палец Господа прочертил на скатерти борозду от гор до моря, и наполнилась борозда сладкой водой, полной муты и рыб. Понеслась река эта, понеслась она к морю. Дважды в году высоко в горах, где лежат истоки реки, появляется священный телец Господа, и рядом с ним прекрасная телица — Иштар. Покрывает ее бык, но Иштар вырывается и скрывается в горах, а семя быка изливается в воду. Бурным потоком наполняет оно реку, переполняется она, заливая плоскую, как скатерть, страну и оплодотворяет ее. Дважды в году, точно по звездам и Солнцу оплодотворяет священный бык реку, и несет она свое семя и изливает его на землю. Потому и не знают люди той страны голода, ибо нет там засухи, нет там истощения".

Дружно закачали старшие братья бородами головами. "Невероятно, невозможно, чтобы Господь допускал такую трату воды — и для кого он оплодотворяет эту плоскую равнину?! Для погрязших в идолопоклонстве, для совокупляющихся с быками и козами, для обнажающих свое тело — для мицримов!" "Как можем мы, проводящие всю жизнь среди стад, поверить, что есть у Господа бык, семени которого хватает, чтобы переполнить реку?! Только небо благословляет почву водой, и то лишь раз в году, а не дважды, а то и вообще не проливает ни капли за долгие месяцы. Учитель твой — знатный лжец, впрочем, что можно ожидать от пришельца из поганого Мицраима!" "Ну, что же еще рассказывал он тебе, сладкоречивому любимцу отца нашего?" — спросил славившийся своим ехидством Гад — змей хитроумный, чья рыжеватая борода уже блестела сединой. Йосеф недоуменно смотрел на братьев, явно задетых его рассказом-песней. Помолчав, он обратился к Якову: "Хочет ли наш отец слушать мои рассказы? Или и для него они кощунственны и неприятны? Трижды пусть буду проклят я, если оскорблю слух старших и особенно отца нашего в этот субботний вечер!" — "Повко!", —

подумал про себя Иегуда, а остальные братья только приоткрыли рты от этой неприкрытой наглости. Яков погладил пушистые, жестковатые волосы Йосефа и ответил густым низким голосом, еще не тронутым старостью. "Расскажи нам, расскажи нам, сын Рахели, о далеких городах, об обычаях странных и непонятных. Велик Господь, и многообразны творения Его. Объемлет он Землю и Небо, творит Добро и допускает Зло, творит Левое и Правое, Верх и Низ, Далекое и Близкое. И если допускает Он все это, значит, есть в многообразии смысл и значение. И, может быть, требует Он от нас не проклятия всему чужому и чуждому, а понимания и уважения. Кто может знать, одна ли Истина и принадлежит ли она нам? Может быть, на Земле — множество Истин, и слияние Их — Великая цель Создателя".

Падают на теплую после жаркого дня почву перезревшие оливки. Тихо крадется месяц и заглядывает в засыпающие шатры Якова. Ночь субботняя, Ночь покоя и размышлений...

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

...Понемногу начинаю осматриваться и привыкать. Лица и тела, поначалу слитые в единую шевелящуюся, кишашую массу, рассыпались на элементы и индивидуальности. Углы, стены, дорожки, дышавшие неизвестным, пропитанные опасностью и страхом, — ощупаны, исхожены, окрасились повседневностью, скукой и печалью. Время застыло и чуть заметно шевелит крыльями-днями.

За жилым баракком, на еще зеленой траве можно раскинуть телогрейку, прихватить кружку горячего чая, лечь на спину и думать, погрузившись взглядом в выцветшее осеннее небо. Воскресенье. Начало октября, но удивительно тепло. Я вижу моих коллег по зоне, разувшихся, без рубашек, прикорнувших, как и я, вдоль колючей проволоки. Ну, конечно, стремительно пробегает очередной мент. Это Петя — белобрысый, скрипящий ремнями и удивительно похожий на немца из фильмов о второй мировой. Фуражка лихо натянута на узкую

черепную коробку, тонкий нос, тонкие злые губы, прыщи на бледной альбиноидной коже. Петя славится хамством и удивительной даже для мента тупостью. На этот раз он прискакал по доносу старичков-стукачей, оскорбленных видом обнаженных тел и разутых ног "молодежи". "Нарушаете!" — скрипит Петя, подойдя к лежащему круглоголовому и бородатому эзку. Это наш румынский друг — Валера — человек прямой и грубый, он безмолвно поворачивается на другой бок и издает то ли ртом, то ли другой частью тела неприличный звук. В ряду лежащих эзков возникает неукротимый, но подавляемый смешок. Петя взбешен. Помахивая хлыстиком, он нервно топчется и снова требует от окружающих немедленно прикрыть наготу портянками, сапогами и рубашками. Валера поднимает голову и коротко бросает из-под телогрейки: "Отъебись!" Сквозь мутные окошки барака виднеются любопытно-злорадствующие рожи старичков-доносчиков.

Представление продолжается и принимает уже не очень приятную окраску. Петя может многое — вызвать ментов в зону и, уведя "зачинщика" на вахту, обыскать и избить; Петя наверняка напишет рапорт, что опять же означает очередное лишение — наказание. В этот опасный для сообщества момент в дело вступает эзковская дипломатия. И тут непревзойденным мастером является наш Лафарг. Его волосатая грудь, прикрытая телогрейкой, выползает на свет божий. Тихим, но удивительно твердым голосом он вещает: "Гражданин начальник, согласно приказу 20 в свое личное время осужденные имеют право летом быть обнаженными до пояса и заниматься физическими упражнениями".

Петя ошарашенно молчит. "То физзарядка по расписанию, по утрам", — наконец неуверенно бормочет он. — "Где это написано, гражданин начальник? Нет, там ничего не сказано о времени — утром или вечером..." — "Все равно вы нарушаете — там только до пояса, а ты без ботинок..." — "Во-первых, вы, — отвечает невозмутимый Лафарг, — а во-вторых, — я в тапочках. В приказе же сказано, что для физических упражнений временно изолированные используют та-

почки...” — ”То упражнения, а вы лежите...” — ”А есть такие упражнения — лежа на спине”, — и Лафарг, ложась, демонстрирует, разводя в стороны руки и ноги.

Снова раздается тихий, но явственный смех, поджигающий Петю. Но голос Лафарга обладает удивительным свойством успокаивать и гасить страсти. ”Гражданин начальник, мы ничего не нарушаем, а строго по режиму упражняемся в свободное время. Если вы рапорт напишете, то ведь и мы напишем жалобу на вас”. Петя молчит. Он, конечно, знает, что жалобы наши ничего хорошего ему не сулят. Во всех случаях прав останется он, все мы будем наказаны, но... начальник зоны вызовет его для разбора жалоб, потом в ответ эти жида (для него все черные — румыны, армяне, узбеки и пр., и пр. — жида) будут кляузничать выше, все пойдет в Саранск. Чего доброго, из столицы Мордовской республики прикатит комиссия по режиму. Жидам достанется, но и всем ментам тоже, что недостаточно блюдут режим... Словом, Петя удаляется под насмешливые побряхтыванья эзков, а Валерий, повернувшись на другой бок, снова издает уже целую серию непристойных звуков. С вышки раздается залиvistый смех солдата.

Рядом со мной на траве сидит, скрестив ноги по-восточному, на редкость не восточный человек — Сережа. У него тонкое, бледно-серое лицо. Телогрейка одета прямо на голое тело, и, несмотря на солнце, ему зябко. Он скрючился, вложил руки в рукава ватника. На вид ему можно дать не более 19-20 лет, но на самом деле ему уже 30. А в 20 лет, в Минске или Смоленске, не помню точно, он с группой таких же мальчиков и девочек решил бороться за свободу получения информации. ”То есть как?” — спросишь ты. Отвечаю. Что слышит ”простой советский человек”, включая радио и пытаясь ”поймать” что-либо на коротких волнах? Оглушающий треск и гудение электромоторов, что установлены для глушения по всем городам и весям страны, ”где так вольно дышит человек”. Некий тоталитарный ”гений” додумался закрыть даже радиоэфир, оплести колючей проволокой неуловимые электроны, посадить их за решетку бессмысленных электри-

ческих шумов, забить фразы и речи треском и гулом, вычеркнуть из человеческого сознания иное мнение, иное слово, иную речь. Глушилки — символ русского коммунизма — памятниками, зловещими башнями раскинулись по всей стране, и стоят, и подмигивают красными глазами, словно чудовищные надзорные вышки огромной тюремной зоны...

Так вот, Сережа и его друзья решили взорвать одну из таких станций глушения. По наивности они думали, что эта станция — единственная. Взлетит она на воздух — и очистится эфир от шумов, голосов Левитана и Высоцкой, маршей и комсомольских песен. Как уж они собирали взрывчатку, как собирались преодолеть охраняемый "объект", залитый ночью прожекторами, а днем — окруженный часовыми с собаками, не знаю, не спрашивал я немногословного Сережу. Конечно, в их группе оказался предатель. Взорвать им ничего не удалось, но посадить — посадили всех — по обвинению в терроризме. Вскорости все поделщики Сережи раскололись, раскаялись и один за другим были освобождены в либеральное время хрущевской оттепели. А вот Сережа не сломался. Тихо, упорно отстаивал свою правоту, тихо, упорно сидел то в одной, то в другой зоне. Молчал, не старел, сторонился группировок, но всегда был во всех общих голодовках, забастовках и прочих антиначальственных демонстрациях. Только приучился чифирить и изобрел для себя хобби — собирал всю литературу об американской космической программе. Наверно, он был одним из лучших специалистов в мире по американским спутникам. Выписывал специальные журналы — вроде "Авиация и космонавтика", покупал техобзоры, выпускаемые Институтом научной информации, вычитывал из газет, популярных журналов все, что касалось американских спутников и космических аппаратов. Такой подробной и скрупулезной картотеки, как у него, не было, наверно, и у Главного Советского Конструктора. Слушая, как он наизусть шпарит цифры и факты о том или ином спутнике, я иногда с ужасом думал о неиссякаемых запасах человеческого долготерпения и способности переносить непереносимое. Таким он и останется в моей памяти — Сережа:

худющий в огромном ватнике, мечтающий о мысе Канавел-
рал на траве у колючей проволоки запретки...

И еще один "террорист" из моей лагерной коллекции. Мы с ним часто прогуливались по вечерам вдоль зоны, вокруг запретки, бесконечными кругами. Ему действительно было не более двадцати лет. Студент-юрист. Из семьи финнов, репрессированных после финской войны 1939 года. Удивительно, он и в зоне сохранил веселое улыбчивое выражение совсем юного, даже детского лица. Впрочем, он мог улыбаться, так как, в общем, получил минимально возможный срок за свое преступление: кинул зажигательную смесь (бутылку с керосином) в витрину на Невском проспекте, где были выставлены портреты современных микросталиных и микролениных. Он мне напомнил того парнишку из психушки, освободителя России, правда, тут у Эдика окраска была другой: освобождение от Советской России. Он-то был финном, помнившим, что в 1939-м рука "старшего брата" вползла в дом его родителей, разграбила и конфисковала, увела в сибирскую бессрочную ссылку родных.

Разговоры с Эдиком напомнили мне об одном странном городе, — о Выборге, куда я ездил по делам службы, давным давно, в 1964-м, когда мое тюремное будущее только начинало зреть. Меня поразили этот город, казавшийся полным теней прошлого, выморочный и прекрасный, заросший лесом, прорезанный запущенным парком, где притулились меж кустов бронзовые оленята. Обнаженные тела скульптур внезапно открывались за поворотом тропинки, пустое здание библиотеки поражало современностью формы. И улицы, где толпились остроконечные европейские здания, бережно обходя гранитные протуберанцы скал и зацепившиеся за них сосны.

Город и в 1964 году был закрытым, по улицам ходили командированные, новоприезжие, звучала русская речь, в квартирах с высоченными окнами и потолками жили приехавшие в поисках счастья рязанцы, тамбовцы, великолукцы, а город с недоумением смотрел на них и продолжал жить своей прежней жизнью, говорить на финском наречии, медленно смот-

реться в воды финского моря... Приезжие, жившие в чужих квартирах, получали странные письма с того света: "Берегите нашу мебель, ничего не трогайте, — мы еще вернемся"...

В Выборге не было пригородов, сразу за последним многоэтажным домом начинался лес. Бродя по нему, я как-то увидел куст прекрасных роз. Всмотревшись, я заметил, что вокруг меня не лес, а часть запущенной усадьбы. Развалившийся коровник, мостики через пересохшие пруды... Думая об этом городе, о его тенях, розах и скалах, я смотрел и понимал Эдика, родившегося в сибирской ссылке, выросшего в Ленинграде и плюнувшего огнем в лица "освободителей". Эдик, где он сейчас? Через много лет я узнал, что он вернулся в Карелию, пытался выбраться из России, не смог. Сейчас он служит официантом где-то в маленьком провинциальном городке и заливает свой огонь, что когда-то выплеснулся наружу, — водкой...

Склоняется книзу октябрьское солнце, заходит и погружается за горизонт. На эти годы горизонт для меня — зубья забора запретки. Сразу за клубился вечерний туман, легла роса. Птицы доверчиво присаживаются на колючую проволоку... И так было всегда — горело на кострах человеческое мясо, скручивалась кожа, рвы наполнялись трупами, газовые камеры — задыхающимися, а рядом, на соседнем поле, грачи деловито клевали проросшие зерна, струилась вода, падали росы, расцветали и умирали цветы... Господи, как допускаешь Ты это?

Далеким звездам нет числа и нет
 границ у мирозданья,
И нет предела у желанья
исчезнуть пред личиной зла...

Спираль зиккуратов вонзается в мрачное небо. Только на далеком горизонте апельсиновой коркой протянулась полоса вечерней зари. Верещат ночные цикады. И ветер, зацепившись за колючие ветви кустарников, тихо шепчет мое имя — "Ихез-

киель!" Погасли лампы за глинобитными стенами Вавилона. Заснули все, — кто торговал и хитрил, кто любил и отдавался, кто требовал и желал, кто владел и кто платил... Заснули все, кто опутал меня любовью и долгом, чьи добрые руки помогли мне в годы несчастья, а теперь они, протянутые ко мне, требуют благодарности... Что я могу дать им, жаждущим и ждущим? Разумом я понимаю, разумом я готов отдать им все, но душа моя, сердце мое не принадлежат им. Желанья мои вышли из темницы и обращены к далеким звездам. Виноват ли я, что не могу растоптать эти желания? "Что нужно тебе? — недоумевают мои близкие. — Все у тебя есть, все вернулось к тебе после бесчестья и многих лет темницы: слава, почетное положение в обществе, ученики окружают тебя... А ты сидишь в полночные часы, устремив глаза в холодное небо, полное блестящих и таких далеких огней..."

Это было много лет назад, нет, это было вчера, это было за несколько мгновений до того ночного мига... Небо бесшумно расщелось блестящими трещинами, словно некто гигантской рукой проломил в нем брешь. И в этот пролом в сине-фиолетовом ореоле стало опускаться Нечто. Оно было огромным и Оно было одного размера со мной. Многоглавое, Оно имело одно невыразимо прекрасное и доброе лицо. Многорукое, теплой ладонью касалось Оно моего сердца и согревало его. Шло Оно на прямых, звериных ногах, и каждый шаг отдавался в душе моей музыкой и желанием. Оно распласталось передо мной и, охватив меня своими крыльями, положило свое лицо на грудь мою. Без слов, без единого звука запело Оно, и голос Его отдавался в моей груди мерными вибрациями. И чувствовал я, что тело мое исчезает, растворяется, все страдания мои, вся боль накопившаяся, все скрытое десятилетиями изливается и испаряется в водоворотах необжигающего пламени, что сияло вокруг Него. А потом так же внезапно, как появилось, Оно исчезло, оставив за собой едва заметный светившийся фиолетово туман. Но не только туман запомнился мне, лежащему и оцепеневшему от горя. Неистребимое желание и надежда навсегда поселились во мне. И каж-

дую ночь я выхожу за городские стены и жду, бесконечно долго жду, до самого бледно-зеленого рассвета, жду мгновения, когда снова растворится небо, и теплое доброе лицо прикоснется к моей груди...

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

...По бараку бродят многочисленные кошки. Некоторые из них лежат на постелях, на полу, в проходах. Вечер. Огромный, откормленный серо-черный кот нежится у печки, перевертывается на спину, вытягивает лапы. Он мне кажется переросшим котенком, забавляющимся собственным хвостом. Внезапно он ложится на бок и замирает. Из рта показывается кровь. Не веря себе, я поднимаюсь с койки, подхожу к нему. Кот судорожно вытягивается, из ноздрей показывается желтая пена.

"Еще один готов" — спокойно произносит кто-то с верхней койки. Это Юра. Маленький, вертлявый, немного истеричный — из уголовников. Он встречается со мной глазами, равнодушно усмехается. Он прав. Это уже второе животное за последние два дня погибает, тихо, истекая кровью и желтой пеной. Юра, ворча и матюкаясь, слезает вниз и, брезгливо отвернувшись, выносит кота из барака. Кошек хоронят тут же в зоне, среди зеленой травы, где уже существует настоящее кошащее кладбище. Любопытство толкает меня вслед за Юрой. Юра деловито роет могилку. Я стою рядом и молча наблюдаю за растущей кучкой земли. "Ну, — принимай, кошащий бог, своего раба!" — говорит Юра и погружает мягкое серо-черное тельце в ямку. Я помогаю ему зарыть могилу. "Прогуляемся?" — предлагает он, закуривая. Мы идем по привычной для всех ззков дорожке — бесконечно замкнутому кругу вдоль запретки. "А чем болеют ваши кошки?" — спрашиваю я. "Да ничем! Ты что, не понимаешь, что ли? — искренне удивляется Юра. — Ну, ты, действительно, еще зеленый в зоне. Это же просто. Где в лагере схватить кайф? Водки нет; лак этот с проводов жрать немногие могут, да и опасно:

подохнешь не ко времени, таблетки всякие не всегда достанешь, а уж о "плане" или о гашише думать нечего. Вот только чай, да еще кошки..." Я ошарашенно гляжу на него. "При чем тут кошки?" — спрашиваю наконец, почти смущаясь. Но Юра невозмутимо объясняет: "Так уже давно один ээк из врачей придумал — ширяться кошачьей кровью. Поршневые авторучки знаешь? Выкармливаются здоровый кот или кошка, кот лучше — потому что крупнее и живучее. Как подрастет, так и начинаешь его доить этой авторучкой: из уха берешь понемногу кровь, ну сколько там, не более кубика, — и загоняешь себе в вену". — "Ну и?!" — "Так кайф же, — голова сначала легкая, потом вроде кружиться начинает, петь хочется, сон потом такой крепкий, как у мамки в детстве..." — "Так это же опасно даже человечесью кровь не той группы, а ты кошек!" — "Да враки это все! Я уже десять лет, как ширюсь кошачьей кровью, и ничего, даже вены себе не испортил, не то что морфием!" И Юра с гордостью закатил рукав, показав тощую безволосую руку с крупными набухшими венами.

Я подавленно молчу. О, хитрая живучая бестия, называемая человеком! Даже в несчастье, в заточении сумевшая приспособиться и выискать призрачное удовольствие. Нет вина и водки, нет морфия, но есть чифирь, есть кошачья кровь и дурман анафилактического шока. Мы обходим круг за кругом зону, и я каждый раз смотрю на маленькое кошачье кладбище, спрятанное в траве. Теперь понятно, почему в зоне так много кошек. Я-то сначала умилялся той готовности, с которой ээки отдают кошкам свою и без того жалкую жратву. Нет, все гораздо проще, прагматичнее и страшнее: ходят по зоне маленькие живые фабрики кошачьего морфия, доверчиво спят в ногах своих повелителей, пьющих их кровь...

Господи, ты и для этого создавал тварей живых? Ты и для этого отдал их под власть человека? Юра молча посматривает на меня, видимо, понимая, о чем я думаю. "Нехорошо это, конечно, пить чужую кровь, так ведь себя тоже жалко. Года тянутся, каждый день, как гвоздь в живое тело. И нет ни в чем радости. Кругом гнусность и мразь. А уколешься — ту-

ман от глаз отойдет, даже эти гниды-старички кажутся не такими вонючими. Мне ведь еще пять лет...”

Гаснут лампы в бараке. Ночь. На кровать мою взбирается кошка. Яркий прожектор высвечивает грустную, задумчивую морду. На остром кошащем ухе дрожит свежая капля крови.

Сколько способов есть у человека, чтобы обмануть себе подобного? Сколько способов есть, чтобы обмануть самого себя? Зона всегда полна слухов и надежд. ”Мент сказывал, что нашу зону-то прикроют; всех, кто старше шестидесяти, на пенсию, на помиловку, а остальных на Урал, в 35-ю, под Пермь...” Особенно пышно расцветают слухи перед престольными советскими праздниками. Начальство поддерживает через своих стукачей эти шепоты: ”Братцы, поднажмем — план выполним, говорят, всех на диету на месяц переведут” (то есть будут утром давать по ложке манной каши и заменят черный тюремный хлеб серым ”вольным”)...”Зиненко (начальник зоны, лейтенант) вчера сказывал, что помиловка скоро многим придет в этом году, год-то ведь особенный — урожайный...” И так изо дня в день, год за годом. ”В этом году обязательно что-то изменится, глядишь, какой начальник пришел мрачный — не иначе зону нашу раскассируют, всех на волю пошлют...” ”Нитка у меня в машине сегодня три раза кряду рвалась — не иначе долгая дорога предстоит...” ”Слышал, не Подгорный, а сам Брежнев проздравлять с праздником будет, обязательно амнистию объявит...” Старик, сидящий со времен второй мировой, роется у себя в чемодане, в кладовке. Его огромный, обитый фанерой сундук полон аккуратно свернутыми веревками, шнурками и многочисленными кусками хозяйственного мыла. Сидеть ему еще лет десять. ”Зачем вам это все?” — спрашиваю его. ”А как же, дружок, — отвечает он, хитро посматривая на меня. — Мыло, оно всегда в цене, — мыло и соль, да еще спички...” И я вспоминаю далекие военные годы, когда кусок мыла стоил несколько буханок хлеба. Его не уверишь, что все изменилось, что прошел целый век, что сундук его полон не ценностями неслыханного достоинства, а грязным барахлом. Он-то лучше знает, его не обманешь!

Дурманом полна зона, и если не отравой чифирия или кровавого кошачьего опиума, то дурманом слов и слухов. К вечеру, когда начальство убирается из зоны на заслуженный вечерний отдых, когда ментам надоедает надзирать, выходят в свой вечерний дозор "влюбленные". Рядом с нашей зоной — зона женская. Огромная — тысячи на две-три. Целая швейная фабрика. Если залезть на крышу крайнего барака, то можно видеть городок таких же мрачных зданий, окруженных такой же запреткой, только "у них" две вышки, а "у нас" — четыре. Каждый вечер взбираются на крышу "влюбленные", чтобы хоть издали, хоть в неясном синеющем мареве разглядеть нечто противоположное своему полу. "Моя-то сегодня все показала, лапушка, ноги расставила, а там пиздень такая кудрявая, что я тут же и сдрочил..." Действительно, иногда "влюбленные" устраивали нечто вроде обоюдного стриптиза. Ни большое расстояние, ни весьма реальная опасность быть замеченным ментами или солдатами на вышках не останавливала это сексуальное действо, древнее, как сам мир.

В зоне основная работа — на швейке, на фабрике по пошиву рукавиц, но у начальства была потребность в строительных рабочих. Поэтому немногие, самые привилегированные, т.е. никак не связанные с диссидентством или национализмом, были собраны в строительную бригаду, которая каждое утро под завистливые прибаутки и похотливые реплики остальных, остающихся долгие годы в одной и той же зоне, отправлялась в женскую зону что-то строить, копать ямы, ремонтировать нужники. Это путешествие представлялось остающимся, особенно молодым, вожаденной прогулкой в сады Венеры или, по крайней мере, посещением ночного притона после долгого воздержания. Ну, конечно, расстояние между "влюбленными" сокращалось с километра до десятков метров. Ведь в женской зоне рабочая бригада работала, окруженная забором колючей проволоки, под надзором нескольких ментов. Но это не важно: расстояние — такое малое, что можно перебросить "своей" пачку махорки, кулек конфет, записочку, получить от нее письмо с сердцем, проткнутое стрелой: "Верная тебе до гроба Нюся". Некоторые особо

страстные и опытные ухитрялись передавать своим "предметам" собственноручно сшитые тапочки, перчатки, отдавали весь свой "ларек", сигареты, даже величайшую ценность — чай. Распаленные посещениями, они рассказывали завистливо-восхищенным слушателям фантастическо-порнографические легенды о великодушных ментах, устраивавших десятиминутные свидания в закоулках недостроенных бараков или в отхожих местах. Они смачно воссоздавали все перипетии этих свиданий, и, слушая, я понимал, что эти легенды — часть их мира, фантомы более реальные, чем глухой забор, колючая проволока, телогрейка, фиолетовые рейтузы "возлюбленной"...

Одни из них просто удовлетворялись этим духовным онанизмом, как подспорьем для онанизма физического, другие погружались в воображаемый мир всей душой. Федор Иванович... Маленького роста, рыжеватая, редящая бородка. Белорусский акцент. Уверяет, что никого не убивал, только охранял лагерь военнопленных солдат во время второй мировой где-то на Смоленщине. Менты рассказывали, что служил на душегубках, заталкивал детей в металлические камеры и затем разгружал их вилами, как сено или свеклу, к чему был привычен, будучи потомственным крестьянином. У Федора Ивановича "на свободе" осталась жена, дети и внуки. А в женской зоне был у него "предмет" — особенный, занимавший подавляющую часть его мыслей и дум. Как и другие, Федор Иванович передавал этому предмету всю свою махорку, леденцы и сочинял длинные, подробные письма. Иногда он давал их мне читать. Сквозь их наивную безграмотность пробивалось чувство почти юношеское и сильное, одобренное крестьянским практицизмом и отеческой заботой о "предмете". Все это не было бы особенно интересным и необычным, если бы не одно обстоятельство — "предмет" Федора Ивановича был лицом вымышленным, несуществующим, созданным другими зэками и воображением Федора Ивановича.

История была такова: Федор Иванович только один раз был в вожденной женской зоне, но с той поры все свободное время он проводил на крыше, обмениваясь знаками с да-

лекими в буквальном смысле слова "дамами", которые представлялись неискушенному зрителю однообразными серо-черными кукольными фигурками на фоне почерневших крыш женской зоны. Два молодых приятеля Федора Ивановича из той же строительной бригады решили над ним подшутить и как-то в длинный осенний вечер сочинили длинное любовное послание, полное обычных, ритуальных в этих случаях фраз: "Жду ответа, как соловей лета. Твоя до последнего дыхания — Света. На воле распишемся и начнем новую жизнь. Мое сердце принадлежит тебе. Я — молодая и красивая, а ты трудолюбивый и серьезный" и т.д. К письму была приложена фотография: только при очень большом желании обмануться или неискушенности можно было не заметить, что эта фотография — любительская пересъемка стандартной рекламы дамских причесок.

Судя по этой прическе, фотография была приблизительно тридцатилетней давности, когда в моде были тщательно уложенные завитые волосы, обнажавшие уши, а над открытым лбом победно вздымался мощно взбитый кок. Но именно эта фотография придавала чувству Федора Ивановича реальную опору и питала его истосковавшееся воображение. Два сорванца с помощью этих любовных писем выкачивали из Федора Ивановича весь его скудный провиант. Каждое утро я видел, как он передавал "предмету" какие-то кульки, мешочки, долго шептался с вероломными посланцами, выкуривавшими весь его табак, выпивавшими его чай и даже ценнейший кофе, что вкладывала в посылку с "воли" законная супруга. Вечером, когда гасили свет, Федор Иванович предавался мечтам о будущем (сидеть ему было еще 12 лет, а возраст его был где-то между 60-ю и 70-ю). Койки наши были рядом, и он часто советовался со мной насчет той или иной стороны этого светлого будущего. "Жить поедем в деревню. Ничего, что она городская. Избу получим от сельсовета. Сейчас на селе работники — ой, как нужны. Она грамотная — может секретаршей в сельсовете или учительницей. Дети пойдут, так дома будет сидеть. Я ведь работник хороший — и на тракторе могу, и на лошади, и столярку знаю..."

В один прекрасный или скорее печальный для Федора Ивановича день мечта его подверглась страшному испытанию. Стало известно, что завтра разрешают ему пойти на женскую зону. Сочинители любовных писем забеспокоились и создали тут же такую версию. Принесли Федору Ивановичу короткую прощальную записочку от "предмета", где сообщалось, что из-за доноса завистливых подруг ее разлучают с ним, переводят в другую, более отдаленную зону. "Прощай навсегда. Верная тебе по гроб жизни и неутешно льющая слезы Светлана". Федор Иванович в неистовстве кинулся к лагерному начальству. Написал заявление, в котором просил сообщить новый адрес несуществующей дамы сердца, требовал, чтобы его немедленно развели с женой и разрешили расписаться заочно со Светланой. Шутники увидели, что дело становится серьезным и, более того, опасным для них да и для Федора Ивановича: ведь всякое общение между зонами строго запрещено и передача записочек и всякой снеди считается преступлением, за которое можно заработать несколько месяцев БУРа, а то и продление срока. Посовещавшись, они впопыхах решили признаться Федору Ивановичу в обмане. И случилось неожиданное — Федор Иванович не поверил им. "Как же, — говорил он, — вот же патрет ее, да и сам я видел ее в зоне издаля"...

После долгих уговоров и уверений Федор Иванович успокоился, перестал просить начальство сообщить ему адрес Светы, но так до конца и не поверил, что вся эта длинная история была мистификацией. Вскоре, посещая женскую зону, он нашел новую и на этот раз реальную девушку, которой начал оказывать те же знаки внимания, вплоть до того, что перевел на ее счет деньги, заработанные каторжным трудом в лагере. Менты, покровительственно потешавшиеся над влюбленным стариком, не преминули рассказать обо всем его жене, приехавшей на свидание, и получили большое удовольствие, наблюдая, как дородная супруга Федора Ивановича таскает его по полу, вцепившись мощной дланью в редкую рыжеватую бороденку. Одна из сторон в браке всегда консервативна...

В темном зеркале сомнений,
В тихих водах увещаний,
Средь поверий и надежд,
В смехе умниц и невежд,
В исполнение всех желаний
Робко вера пробиралась...

Был гневен царь Саул. Войско разбито. Льстивые друзья спешно исчезли из пышных покоев дворца. В полях невозделанных лежат непогребенные. Лица близких и любимых предстают страшными масками, искаженными гримасами сострадания. Благоуханное вино кажется горькой отравой, пышный пирог превращается во рту в сухую корку, сочное баранье мясо воняет мертвечиной. И нет утешения ни в чем: ни в танцах сладостных рабынь, ни в сиянии золотых и серебряных сосудов, ни в переливах дрожащих огней, что искрятся в драгоценных ожерельях... Выходит царь за ограду дворца. Звездное далекое небо враждебно бледнеет, зелено-голубая пустыня издевается и засыпает глаза песчаной бурей, ветер рвет одежду и уносит ее клочья вдаль, в пустоту ночи. И слышит царь среди всеобщего разрушения его мира, среди зловония и грязи, среди страха и гнева, слышит он Голос. Высокий, то ли юношеский, то ли женский, струится голос в ночи и поет песню. Нет в ней слов, только одна заунывная нота — а-а-а-а — льется в ночи навстречу гневу Саула. Вторят ночь и бренчание расстроенных струн. Песня-нота кружится, бесконечно повторяет самое себя, бьется в железные стены гнева саулова, долбит их, как дятел долбит твердый ствол, наконец пробивает еле заметную щель. И теплеет душа Саула, тают, словно лед в ночную оттепель, его страхи. Рушится и снежной лавиной опадает его гнев. Идет царь на заунывно-сладостный звук и видит костер, мечущийся от порывов ветра, стадо, собравшееся вокруг него, и юного пастуха, выводящего бесконечную песню. В рыже-красных бликах огня кажется юноша еще моложе, почти мальчиком. Слушает царь и боится прервать вопросом, невежливым и любопытным, ночную песню. А она кружится, кружится и умирает, оставляя после себя

тихое шелестение кустарника и горький запах весенней травы. "Как звать тебя?" — "Давид", — просто отвечает голос из рыже-красного сумрака.

И через много лет снова услышит Саул эту песню и устремится навстречу волшебному мотиву, и отворит ворота дворцовой ограды, доверчиво протянув ждущие руки, но вместе с песней прилетит смерть и пронзит стрелой его успокоившееся сердце. И над телом его склонится царь Давид...

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

...Сегодня выпал первый в этом году снег. Чистый, легкий, он кружился, метался над притихшей зоной и укрывал заботливо тяжелый, в шрамах борозд песок запретки, висел на проводах, забирался под крыльцо бани... К вечеру все было синеватым и чистым, даже ватники под его покровом стали казаться врачебными халатами. Чахлые наши клумбы и кусты укрыты толстым снежным одеялом. Наверное, до весны, если вдруг не грянет оттепель...

Каждый день, примерно с шести вечера, начинается ожидание писем. Часов в семь в зону приходит цензор. Официальное его наименование — инспектор по письмам. Молодой здоровенный детина — только что "демоби́льнувшийся" моряк из почетной надзирательской семьи: папа, мама, сестры, братья — все служат в лагерях. Отец заведует складом, мать привозит в зону ларек и продает положенную по "приказу двадцать" залежалую снедь, сестры — надзирательши в женской зоне, братья пошли выше: попали в школу КГБ в Москве. Ну, а этот, младшенький, в зоне цензором устроился. Работа не пыльная, да и с перспективой: глядишь, или в оперы определят, или опять же в школу КГБ попадет. А в ожидании этой приятной перспективы инспектор по письмам опорожнял лагерьный почтовый ящик, куда нам надлежало опускать незапечатанные письма, и приносил в зону по вечерам письма с воли. На его же совести была проверка писем и их конфискация — "в случае чего", а именно непонятных цензору слов,

точек и запятых, подчеркнутых слов и прочих "условностей".

Эти пресловутые "условности" были официальной причиной конфискации многих моих писем и писем моей дорогой коллеги З. В них на каждом шагу содержались "условности", то бишь всякие там рефлексy, естественный отбор, нуклеиновые кислоты, эволюция, конвергенция и пр., и пр. На все мои бурные протесты, вплоть до голодовки — ответ я получал обезоруживающий: а наш цензор не обязан быть по штату с высшим образованием, а вы тут про какие-то кривые Гаусса сочиняете. Словом, с этим деятелем у меня связаны самые неприятные воспоминания. Особенно мерзка его манера показать жертве толстое письмо с воли, от тебя или от З., а затем, ехидно улыбаясь, заявить: "Объявляю о конфискации по причине содержащихся в письме подчеркиваний и прочих условностей". Но иногда — о, какое это было мгновение! — его скуластая физиономия расплывалась, и он объявлял: "Вам письма — два из-за кордона, одно внутреннее!" Зарубежные письма, конечно, тоже приходили процenzурованными, но не им, местным цензором, а, по-видимому, их прочитывали в Москве специалисты-переводчики. Работы у них наверняка было хоть отбавляй: нам приходило много писем (нам, то есть иудейцам, сионистам-империалистам). Как-то на Песах я получил сразу четыре письма-поздравления и был страшно рад, но начальник зоны обмолвился кому-то из "положительных" (то есть старичков-стукачков), что, мол, этому очкастому жидочку пришло сто семьдесят писем!

Вечер. Все письма получены, и их разноцветный ворох перенесен в барак. Вокруг стола, что у дальней черной печки, собираются иудейцы. Убраны кружки, выпит чай, насухо вытерт шершавый дощатый стол. Наступает самая, пожалуй, светлая минута лагерной жизни — чтение писем. Письма считаются общими, секретов нет. Сначала эта идея читать вслух все письма показалась мне дикой. Душа моя резко протестовала против такого вторжения в нее. Потом я привык. И, более того, почувствовал необходимость этого самораздева-

ния и самообнажения. Вскоре заботы детей Лафарга стали — благодаря смешливым письмам его старшей дочери — близкими и родными, моими заботами; сложные многоходовые комбинации семейной жизни Аврама не только изумляли меня, но и заставляли относиться к нему, к такому большому и толстокожему, с сочувствием. Ну, а когда наш Мойше-дантист начинал биться в истерике после очередного пассажа из письма жены, то все мы превращались в дружный хор ангелов-утешителей.

Письма... Нежные бумажные листки, украшенные синими, черными, красными письменами. Прошедшие этапы, перенесшие морскую качку, воздушные ямы, тряску скрипучих вагонов. Тысячи чужих рук касались их — и не смогли стереть заботу и тревогу, любовь и надежду. Первое письмо от Рут. Плотный листок картона, а на обороте акварельный Иерусалим: легкие штрихи, водяные разводы-намеки. И слова — каллиграфически выведенные для безграмотных глаз. Три фразы: "В моем саду цветут деревья. От аромата кружится голова. Это весна..." Три фразы, и в прогорклом воздухе барака возникает сияние апельсиновых рощ, вельвет сумрачного южного неба, шум недалекого моря. Три фразы — и иная, незнакомая жизнь обнимает меня, становится мною. Слово, его окраска и оттенок действовали на меня, как наркотик на аддикта, как алкоголь на пьяницу.

...Письма моей коллеги по университету З. Очень скоро мои иудейцы перестали их слушать — слишком уж специальными и философски заумными представлялись они для друзей-прагматиков — Лафарга, Аврама и Майкла. Читая их, проглатывая и перескакивая с середины в конец, я снова вдыхал знакомый запах парафина и эвкалиптового масла, проходил по темноватым, обшитым роскошными панелями коридорам биофака и наслаждался чистым потоком незамутненной мысли. Мы говорили о многом, но главной темой всегда был Бог и Его создание. Случайные ли мы гости во Вселенной — возникшие из многочисленных комбинаций молекул, выползшие живым и бессмысленным студнем на сушу, жравшие себе подобных, чтобы жить и выживать, знать и поз-

навать и взобраться на вершину дерева Жизни? Через собственную микроскопическую судьбу я наивно пытался разгадать жизнь Космоса. Зажатый жесткой муштрой лагеря и тюрьмы, я чувствовал, что и эта малая капля общей Судьбы — не случайна, но предопределена. Ничтожно малый, но невыносимо сложный и запутанный комок нервов, мышц и крови выползает на свет, мечется, ищет свое место и, переходя из одной ниши в другую, находит наконец свое убежище. И поиски эти, часто неосознанные, словно тропизмы и таксисы амёб и инфузорий, оборачиваются взрывами и бурями жизни, хотя и кажутся извне случайными поворотами Судьбы. ”Ах, если бы я не сказал, ах, если бы я получил, ах, если бы был принят...” Но все это фальшивые слова и фразы. В том-то и дело, что не случайно сказал, не случайно попал и т.п., и т.п. Это и есть твоя история, то, что написано до тебя, но для тебя, то, что отпечатано в твоих молекулах и атомах и то, что не уйдет в небытие, но сольется со всеобщим потоком Судьбы... Ах, письма — терпкий напиток для безнадёжного наркомана слов!

Серебряное время ночи
Над запустением души...

Вышедшие из одного чрева, порождение одних и тех же чресл — Каин, предавший Авеля, Иаков, предавший Исава, Братья, предавшие и продавшие Иосифа... Предававшие, продававшие, убивавшие себе равных, себе подобных... Кто на Земле этой Каин? Кто — Авель? Все, как стертые временем монеты, катятся по проторенному пути, пожирая собственную плоть, утоляя жажду кровью воображаемого или действительного соперника.

И приходит час Великого потопа. Потоки дождя растворяют красную глину, ветер уносит песок, земля прорастает травами. И новое поколение братоубийц населяет мир.

Обсохло днище Ковчега, рассеялись по свету вышедшие из него твари и люди. А в семье Ноя — смущение и страх: из од-

ного чрева, от одной матери исторг Господь трех младенцев, что само по себе не столь уж великое чудо, особенно для тех далеких, плодоносных времен. Но были младенцы столь разными, столь непохожими, словно порождение разных отцов и матерей, словно созданные разными богами. Один — черный, как земля после июньского ливня. Жесткая курчавая поросль ершится над выпуклым гладким лобиком и пухлые красные губки складываются в сосущий хоботок. Другой — желтый, как цветы акации, с узкими раскосыми глазенками под тяжело нависшими веками, узкие губы плотно сжаты над тяжеловатым подбородком. Третий — белый, как козье молоко, как снег на горных вершинах, и голубые глаза его еще с младенческой мутью — холодны и прозрачны, как звезды. И отдал Ной Север и Запад — белокожему Шему, знойный Юг — знойному Хаму, а Восток — желтокожему красавцу Яфету. Время съедало поколения, и разбредались люди все дальше и дальше от истока, забывая свои тропы к Ковчегу. Случайно встречаясь, не узнавали себе подобных, братьев по крови, и смеялись, и потешались, и ненавидели. “Глянь на эту черную, грязную рожу! Он пахнет мускусом и солью, а лицо его точно обезьянья морда!” “Глянь на этого белого червя, на его прямые белые волосы, на его бессмысленные водянистые глаза. Только во сне может присниться такое страшилище!” “Глядите, глядите, — он косоглазый, и кожа его точно яичный желток!” Так они гоготали, издевались, поработали, пытали и истребляли иных, на себя не похожих. Загоняли их в гетто и наполняли ими невозможные ямы. Звериная ненависть ослепляла некогда родные души.

Но придет время, и соприкоснутся они. Черная, белая, желтая реки возвратятся к Ковчегу, сольются в единый океан. Пухлые губы Хама расцветут на белой щеке Шема, и тяжелые веки Яфета прикроют огонь его глаз под лаской белой и черной рук. И будет Океан! Разные волны, разного цвета струи в нем, но суть их одна: разные и единые, разделенные временем и пространством, но слившиеся. Все мы — Шем, Хам, Яфет...

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Друзья... Удивительное свойство моего восприятия мира: сначала мне видится общее, похожее, целостное. Все сущее представляется единой, шевелящейся массой. И только потом, когда проходит шок неизвестности, незнакомости, исчезает страх перед вторжением нового, я начинаю видеть детали, различать оттенки и непохожести. Я уже рассказывал в первых письмах, что был вначале подавлен этой непереносимо однородной массой круглых остриженных голов, был испуган серой глыбой бесформенных тел в одинаковых серых ватниках, неуклюжих брюках, слоноподобных сапогах. Жесты и даже голоса были стереотипными на мой первый, еще деформированный шоком взгляд. Разговаривая друг с другом, эки обычно скрещивали руки на груди или прятали кисти рук в рукава. Геометрия зоны заставляла их двигаться по кругу или ритмично вышагивать, точно маятник, вдоль одной и той же тропинки. Постепенно из этой серой стандартности мое сознание вырывало пятно человеческого своеобразия.словно в луче прожектора высвечивалось из темноты лицо. Оно приближалось, приоткрывало на мгновение свою суть и снова скрывалось в сумрак серой одинаковости. Постепенно с глаз моих спадала пелена, и сознание включало познание деталей и оттенков. И вот из серой говорливости, из многих одинаковых голов и тел выделился и слепился круг моих близких знакомых. Он сузился до предела, до уровня, когда возникает доверие.

Вот первый в светлом ореоле моей памяти — Славко Черновил. Ненавязчиво приветливый, с непропорционально большой головой и тонким лицом, он походил на клише марсианина из мультфильмов, на марсанина с запорожскими усами и мягким украинским говором. Наш первый разговор был о поэзии, о его родном Львове, о его жене — поэтессе с античным именем Алена. Он читал мне украинские стихи — мягкие, как его "г", ритмичные и музыкальные, традиционные и модернистские, но все они были с налетом боли и светлой грусти. Мы бродили по зоне, вдоль запретки, а рядом с

нами брели тени Ивана Франка, Шевченки, Леси Украинки и новых, неизвестных мне. И странная близость возникала из этой беседы между воинствующим сионистом и не менее воинствующим самостийным украинцем. Это была его вторая "ходка". А первую он провел под Николаевым еще в шестидесятых "либеральных" годах за... хулиганство. Мелкое хулиганство — он был организатором одного из многих тогда собраний, где обсуждали какого-то внезапно расцветшего поэта. А поэт вдруг возьми да прочти стихи с национальным содержанием. Толпа, конечно, всполошилась: комсомольские "наблюдатели" от КГБ захлопотали, а молодежь, подстегнутая крамольным словом, начала гомонить, и, что более всего испугало блюстителей, петь прямо-таки нечто очень запрещенное: "Як умру, то поховайте..."

Словом, заарестовали моего Славку тогда и бросили к уголовникам на растерзание. Но он был из особого племени бунтарей и генетически был создан для лидерства. Ведь и сходку эту он организовал, будучи на ответственном посту в комсомоле. Наверное, тогда искренне еще верил в пресловутую оттепель, которая оказалась осенней слякотью перед наступающей суровой зимой.

Так он вкусил от первых плодов пенитенциарного советского древа. И плоды сего древа пошли ему на пользу. Вошел он в лагерь правдоискателем и социалистом, вышел — зрелым националистом и хитроумным политиком. И уже не организовывал шумных сходов и обсуждений, а тихо и исподволь начал строить здание будущего Украинского государства. С чего начинается оно? Многие скажут: с физического освобождения из-под ига, другие начнут сочинять политическую декларацию, третьи начнут восстанавливать и воссоздавать из руин разрушенную русификаторами культуру и историю. К этим третьим принадлежал Славко. Он задумал воссоздать Историю замученных носителей украинской культуры, создать памятник-мартиролог тем, кто был убит, сослан, выслан, бежал, тем, чьи имена вытравлялись из памяти народа, затапывались пропагандистскими сапогами, заслонялись тучами ярлыков и наклеек. И вышла эта книга на Западе. Собранная

по крупицам, созданная где по устным преданиям, где — по чудом уцелевшим газетным листкам, письмам, эта книга вызвала к жизни имена деятелей церкви и Сейма, писателей, поэтов, художников, которые, казалось, никогда не получают признания на Земле, ради которой они жили и погибли. Короче — на второй раз КГБ наградило Славку пятью годами лагеря и пятью ссылки. А недавно я прочитал, что уже в ссылке Славке добавили срок: конечно, за уголовщину — изнасилование. Остроумные тупицы сидят в КГБ — издеваться, так издеваться до конца! Не могут они простить, не могут перенести самого существования таких людей, как Славко — ибо спокойная, деятельная решительность, воссоздание разрушенного здания национальной культуры, Духа народа — страшнее для поработителей, чем самые громкие декларации или даже взрывы бомб.

Со Славкой связаны у меня два лагерных приключения. Славко — неумно любознательная натура, настоящий журналист, способный вытянуть информацию из каменного столба. Я же, как ты знаешь, таковым не являюсь и обожаю поучать и учить. Вот и бродили мы кругами по зоне, и я выкладывал ему всякие научные новости и древности. Справа от нас желтел песок запретки, слева — теснились бараки, шелестели под ногами опадающие листья, а мы жили в мире молекул и звезд, раскопок и умозрительных теорий. Как-то после одного из таких вечеров Славко спросил: а почему бы тебе не организовать тут биологическую школу для желающих? Это звучало романтично и почти как в хрестоматиях о революционерах-народниках, обучавших "младшего брата" в тюрьмах и на каторге. Словом, не прошло и недели, как на Славкиной кровати после вечерней трапезы уже усаживались молодые неофиты (два украинца, латыш, литовец, русский), и осужденный преподаватель, то бишь я, начал рассказывать и рисовать хитроумные чертежи на импровизированной доске. Начали мы с самого сложного: с возникновения жизни. Но поскольку неофиты в большинстве своем были девственно чистыми в смысле биологии, то пришлось делать огромные зигзаги в сторону. Словом, это был настоящий биологический ликбез.

Славка восседал тут же, попивал кофеек, до которого был большой любитель (чифирить, как и я, он терпеть не мог!) и выполнял роль доброжелательного директора воскресной школы. Надо было видеть недоуменные физиономии дежурных ментов и старичков-стукачковых. Ничего подобного они еще не видели и не знали поэтому, что делать. "Сидят себе целый вечер, кофей или чай лакают, никаких антисоветских высказываний не делают, голодовку не объявляют, о национальностях не спорят, а вот слова употребляют такие, что вроде и русский язык, а ни хрена без пол-литры не поймешь: ген, нейрон, протоплазма и все про какие-то клетки судачат. Может, это камеры тюремные, а может, те, которые в зоо-саде?" Так, или примерно так, докладывали, наверно, наши "вставшие на путь исправления" оперу. Конечно, вызвали меня кегебешники и приказали уроки прекратить, под страхом нового суда и прибавления срока. Посоветовались мы со Славкой и решили не лезть на рожон. Ибо школа в зоне — это хорошо, но новый срок из-за нее получать — смехотворно. Ведь не докажешь, что, рассказывая об аппарате Гольджи, я не имел в виду аппарат коммунистического подавления личности. Заседания нашего научного общества прекратились, но тем не менее в другом виде школа продолжала жить. Мы восстановили наш со Славкой метод, правда, практиковавшийся и до нас в Древней Греции перипатетиками: метод прогулок, но не под Аркадами Эрмитажа, в апельсиновых рощах, а вдоль запретки. Так и ходили мы тут — пять-шесть человек, — а вокруг плыли нуклеиновые кислоты, генетические коды, реяли дрожифилы и шмыгали белые мыши и кролики.

Второй эпизод, связанный со Славкой, не столь веселый. И очень символический. Я уже говорил, что Славко был женат. Но гражданским браком. Не было, значит, у него и Алены бумажки со штампом. А это в развитом социалистическом обществе означает, что свидания им были запрещены, письма не доходили, но обыски в квартире Алены происходили регулярно и на допросы в КГБ ее вызывали почти ежемесячно. И Славко начал воевать за право быть женатым, за право полу-

чать письма. Словом, за право быть цивилизованным мужчиной вопреки кастрационным тюремным правилам самого гуманного коммунистического общества, где даже во время оргазма нужно помнить о великом друге всех народов товарище Брежнев. Однажды после очередного издевательского отказа дать свидание с сестрой и Атеной, отказа, объявленного в тот день, когда обе женщины, проделав тысячекилометровый путь от Львовщины до Мордовии, ждали у ворот лагеря, нагруженные любовно приготовленной снедью, Славко объявил голодовку. А сестра его и Алена возвращались пешком через искореженный воронками лес, оставляя по пути паляницы и прочую снедь, что несли брату и мужу в тюрьму. И дикие звери и птицы пировали в тот несчастливый день, истребляя славкину пищу. Это уже почти сказание, почти легенда, о которой будут вспоминать в мире коммунизма и КГБ.

Что же было дальше? После трех дней голодовки вызвал Славку опер — розовощекий бугай, прикатывавший в зону на огромном мотоцикле. Развалившись в кресле, он поднял мутные голубые глаза на стоящего перед ним и качающегося от жажды и голода Славку и начал... читать ему приказ № 20 — тюремные правила, которые Славка якобы не знал и не исполнял. Дважды Славка просил отпустить его, так как чувствовал, что вот-вот грохнется от головокружения, и дважды, пыхтя сигаретой и самодовольно улыбаясь, опер говорил: "Нет, осужденный... вы обязаны стоя выслушать весь приказ номер двадцать!" Никотиновое облако окутывало тонкую большеголовую фигурку голодного Славки, а опер все бубнил и бубнил, запинаясь и корежа слова. Все мы читали о средневековых пытках. Кого-то крутили на колесе, кого-то жгли железом, кого-то сжигали живьем, кому-то ломали кости. Но больше всего меня потрясает история о воде, которая, медленно капая, продавливала голову исправляемого грешника. Летом 1974 года в зоне № 17 для спасения души осужденного Черновила был употреблен тот же капательный метод. Капали слова, капал голос, и мутные клубы сигаретного дыма окутывали эшафот. Произошло то, чего и следовало ожи-

дать: не выдержал славкин организм этого истязания, и он потерял сознание. "Воспитатель" — все-таки не сталинской, а хрущевской формации — испугался и вызвал медсестру. Та прискакала, быстренько сделала какой-то укол, и Славкину 'душу отпустили на покой.

Все националисты в зоне — армяне, евреи, латыши и, конечно, украинцы накатали громовые письма в разные адреса: от Брежнева — до мученицы Анджелы Дэвис. Ответа не последовало. Видимо, товарищ Брежнев прищипливал очередную побрякушку на грудь и был очень занят, а госпожа Дэвис трудилась над очередным куском осетрины или над черной икрой в подмосковном номенклатурном доме отдыха для импортно-экспортных борцов за свободу.

Ну и Господь с ними, не хочу я мешать их дыхания с дорогим мне образом взрывчато-бурного и застенчиво-нежного друга, рожденного для пророчеств и возмущений, — с образом Славы Черновила.

Пролитая историей кровь разделила нас — Богдан Хмельницкий и Петлюра, кабатчики-ростовщики и погромы. Наши предки потрясали кулаками и кричали: "Вы враги". Но посадил Господь в одну ладью львов и оленей, змей и птиц. И ничего, прижились и подружились. И проходят перед моей мысленной памятью мои дорогие, еще оставшиеся там в лагерях — сероглазый Ярко, словно только что расцветший тополь, длинный, иконно-черный Василь Стус, точно сошедший с картин Эль Греко, застывший от духовной боли Зиновий...

Наши предки были врагами, наши матери учили ненавидеть и опасаться друг друга, но посадил нас Господь в один Ковчег... Неужели мы, люди, хуже зверей диких?..

Ложится туман, стихают птицы, по заветной дорожке вокруг зоны бредут парами эки. Кружатся, кружатся по кругам своим до конца срока...

Придите ко мне голодные
И утолю ваш голод
Придите ко мне жаждущие
И напою вас...

Сухой песок звенит и свивается причудливыми кольцами вдоль скалистой пустыни. Иссякла вода, несомая в кожаных мешках. Ее последние капли, мутно-зеленые, пахнущие плесенью, были выпиты еще пять дней назад. Иссяк запас мацы, и кости последней овцы белеют, полужанесенные песком, вдали, у подножья желто-розовой скалы. А впереди — все та же равнодушная пустыня, и горизонт ее скрыт за лабиринтом холмов. Нудно и безнадежно надрывается ребенок — суха грудь его матери. Моше, Моше, куда ты завел нас?! Где она, обетованная Земля, текущая молоком и методом? И сильные мужчины слабеют и падают первыми, и псы дерутся насмерть над павшими от голода. Утром, пока еще не испарилась тонкая влажная пленка с остывших за ночь камней, прижимали мы наши губы к этим камням, стараясь впитать эту небесную влагу. Моше, Моше, зачем ты увел нас от божественного Нила? И вдруг увидели мы его, стоявшего в тени скалы, а из темных ее недр струилась серебряная нитка воды. И мы гладили и целовали ее, сладкую и обжигающе холодную. Мы омыли наши лица и ступни, мы наполнили ею кожаные вместилища... И Моше молча глядел, и в седой бороде его сверкали драгоценные капли...

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

О несчастные раскормленные дамы, считающие калории в каждом глотке и "жевке", о жирные господа, потеющие в саунах и выбивающиеся из последних сил в попытках освободиться от килограммов и фунтов, давайте я перенесу ваши упитанные тела на месячишко в лагерь номер семнадцать, где вас накормят и напоят согласно приказу номер двадцать (1000 калорий в день на работающего ээка, 800 — на нерабо-

тающего, 1500 — для беременной и кормящей женщины — и это предусмотрено в тюрьме!) И быстро уменьшатся ваши талии, опадут вторые подбородки и нижние бюсты.

Итак, поговорим о пище телесной и лагерной. Согласно упомянутому мной приказу 20, рацион эзков строго регламентирован — мы не имели права на масло и молоко, куриные и прочие птичьи яйца, на витамины и овощи, на кофе и шоколад и т.д. и т.д. Словом, все, что имеет какое-то отношение к связи между пищей и здоровьем — эзку не положено. Что же положено? — спросишь ты. Консервы, пшенка, неочищенная картошка, ошметки немытых внутренностей (свинных или коровьих), полусваренные в мутной воде, называемой после этого супом, лук, свекла, морковь и хлеб, скрипящий на зубах от песка и промокший от добавленного для веса сладкого сиропа. С первых шагов пребывания в советской пениitenciарной системе я понял, что пища — одно из главных средств для наказания и поощрения "временно изолированных". "Ах, он сука, жалобы на нас пишет!" Или: "Этот гад — норму второй месяц не выполняет!" И готово: "Вам объявляется, что согласно приказу 20 вы лишаетесь права на очередную пищевую посылку". Как говаривал мой сокамерник Захар: "Эти коммунистические жлобы любят нас бить по кишке".

Впрочем, что же нам, эзам, жаловаться, если этот принцип возведен и узаконен в коммунистическом раю не только в тюрьмах и лагерях, но и на так называемой воле: ходишь в партийных или иных начальниках — тут же и закрытый распределитель с икрой и ананасами, а ежели не дорос и просто вкалываешь, то и за молочишком утром постоишь, ибо в стране "временные продовольственные трудности". Коммунизм — система научная, а потому использует и при исправлении виновных условные пищевые рефлексy, с таким блеском продемонстрированные на животных академиком Павловым. Но беда-то в том, что эзк — он все-таки не собака или мышь. И потому трудно, ах, как трудно социалистическим воспитателям применять научную павловскую систему для убеждения, просвещения и наказания...

Вот, скажем, не положены ээкам витамины и овощи, а они, такие-сякие, умудряются в зоне редиску и помидоры выращивать, что строжайше приказом 20 запрещено.

Никогда не забуду, как Лафарг инструктировал свою маму в письме и просил прислать цветочные семена, из которых произрастут веселенькие "желтые цветочки с красными корешками", что, конечно, означало редиску. Дело в том, что овощи-то выращивать в зоне запрещено, а цветы, напротив, — не только разрешается, но и поощряется (по-видимому, для очищения заблудших душ). Вот потому-то у почти каждого ээка или группы была своя клумба, где между астрами и гортензиями пробивались ростки лука и чеснока, редиски и морковки. "Воспитатели", получавшие регулярные доносы от стукачей, решили бороться с беззаконием, и по указу начальника лагеря — круглого розовощекого Зиненко — каждое утро наша докторица в сопровождении двух ментов обходила дозором клумбы и снимала "урожай". "Топчи тута и тута — это жидовская морковка меж анютиными глазками!" Так что вечером мы с горестью находили свои клумбы и делянки поредевшими, а то и вовсе загубленными. Ты не находишь весьма символичной роль врача в советском лагере: найти и вытоптать возможный источник витаминов? Поскольку я, как ты знаешь, весьма слабый ботаник, хоть и сдавал когда-то этот предмет Сабинину в университете, то я стал спешно вычитывать изо всяких научно-популярных журналов сведения о полезных травах и цветах. Так и набрел на вошедшую в пословицу о русском голоде лебеду и на красный корень (тоже весьма распространенный сорняк). И, о радость! За нашим баракком, под лозунгом "Труд превратил обезьяну в человека", обнаружили заросли этих классических трав. Я наловчился готовить из них и из кваса, настоянного на тюремном хлебе, довольно приличную окрошку, которую мои иудеи во главе с Лафаргом пожирали и нахваливали. Но и этому источнику витаминов и каротинов вскоре пришел конец: стукачи донесли о наших "зеленых" трапезах начальству, и как-то, возвратясь с работы, я обнаружил, что моя естественная делянка лебеды и красного корня перепахана начисто.

Бредя в барак, я заметил, что из окошка амбулатории выглядывает с довольной улыбкой наша докторица. Выполнила свой долг перед советской родиной и удовлетворенно и гордо наблюдает дело рук своих.

Но я решил продолжать борьбу за витамины. И где-то вычитал, что по вкусу и качеству цветы и стебли настурции не уступают редиске. И потому ошарашенные менты увидели однажды следующую картину: процессия эзков (иудеи, латыши и молодые украинцы) направляется в столовую с букетами пышной настурции в руках. "День рождения у Коренбли-та", — объяснил твердым, не допускающим сомнений голосом Лафарг (бедный Миша, вечно он изображал кого-то — то жениха на свадьбе во время похищения самолета, то счастливого новорожденного, то...). И вся компания быстро нашинковала свои букеты в тошнотворную похлебку. Менты только рты разевали, глядя, как желтые цветы настурции беззастенчиво поглощаются "государственными преступниками"

Но особого накала борьба за калории и вообще за достойную жратву достигла памятным весенним днем 73-го года, когда в нашей ежедневной обеденной похлебке обнаружили черви. Нашли мы их несколько — и тотчас же вызвали в зону докторицу. Хрупкая, с ало-розовыми щеками, она появилась в зоне. Не помню точно ее фамилии — то ли Белякова, то ли Беляева. Не сомневаюсь, однако, что она и сейчас достойно представляет науку Эскулапа в советских "воспитательных" учреждениях. Задумчиво посмотрела она на предъявленных ей червячков, возвела к небу светло-голубые глазки и лениво промолвила: "Ну, чего расшумелись, — жареный лук это! И вообще на работу вам пора!" И решительно засеменила прочь, на вахту. Ну, а наша остолбеневшая от ее наглости компания (румын, иудейцы, младо-украинцы, латыши и эстонцы и примкнувший к ним Славка Петров — единственный русский диссидент, бывший в то время в зоне) решила на работу не выходить и требовать приезда комиссии. И началась наша "червячная" забастовка. Удивительно, как нас всех тогда не засадили по-серьезному. Да время, видно, еще не подошло. Тем более что в провинции инерция всегда довольно

большая, не успевают колебаться вслед за столичными закручиваниями и послаблениями.

Неделю мы не работали, проводя время в блаженном безделье на траве за бараками. Кого только в зону не посылали: и кагебешных воспитателей, и начальников из Мордовии, из Саранска, но мы уперлись и отправляли каждый день по несколько жалоб во все возможные и невозможные инстанции. Помнится, в моем письме ссылка на пресловутый "жареный лук", обнаруженный Беляковой, сопровождалась указанием, что по профессии я биолог и могу отличить растение от личинок насекомых. Приезжала какая-то дама "из Управления". Сложив умильно губки, щебетала: "Ну и что, червячки, даже если бы и были! А в крупке всегда червячки водятся, вы спросите ваших жен и мамаш!" На что я ей отвечивал, что ежели дома такое случается, то жены и мамы суп на стол не подают, а на помойку выливают. Короче, через неделю всех нас, голубчиков, посадили в изолятор на особо строгий режим, а Валерку и Славку увезли во внутреннюю тюрьму (БУР) на седьмую зону. Отсидели мы немного: всего три недели, но на какое-то (правда, короткое) время еда в зоне стала более пристойной.

В те семидесятые годы гулаговцы еще давали трещину: все эти елейные заклинания — "законность", "культ личности" — были действенными напоминаниями о мясорубных 30-40-х и 50-х. Плевать они, конечно, хотели на наши жалобы, но, с другой стороны, эти письма служили орудиями во внутренней борьбе наших начальничков за место повыше и зарплату побольше, а кроме того, как-то так получалось, что большинство наших действий — забастовок, писем, отказов от свиданий — и драконовских ответных "мероприятий" быстро становилось известным за рубежом. А это в то время опять же было ох как неприятно для местного и неместного начальства. Тут тебе и детант, и хельсинско-мадридское словопреение о правах, и Анджела Дэвис по Красной площади крутится, и технику от американцев задаром хочется получить, а товарищу Брежневу по Вашингтону побродить желается, а эти вот проклятые клеветают и распространяют...

Так о чем же я? Вот о чем: очень мне хочется пригласить слезоточивых социалистических мечтателей из Гринвич Виллидж, Гарварда и Колумбии в зону номер 17 и угостить их "крупкой с червячками". Может, и правда, пищевое подкрепление условного рефлекса — более действенное средство, чем словесное убеждение?

Навязчивый говор ушедшей весны
И крик окровавленный позднего лета,
И снова проклятые черные сны
Все бродят и снятся
И шепчут об этом...

Жаркое марево окутывает тяжелую, темную воду и дымчато-фиолетовые горы. Горло Негева неустанно стремится сюда свое знойное дыхание. Бело-зеленые кариатиды соли покоятся над изумрудной неподвижной поверхностью вечного рассола. У самой кромки воды, заросшая панцирем соляных кристаллов, лежит плита, когда-то белого камня. Я взглядываюсь и замечаю, что это мощные ступени циклопической лестницы, ведущей вглубь, в темные, мертвые глубины. Где-то там, занесенные щебнем и заросшие солью, спят два прекрасных города-близнеца — Сдом и Гемарра.

В начале времен докатилась сюда волна потомков Адама, и построили они белоснежные здания на берегах прозрачного, полного жизни озера, окруженного синими горами и желтыми скалами. Сладкой была вода в этом озере. Огромные, как пальмы, водоросли колыхались над розовым песчаным дном. Дрожащими искрами стремительно скользили на мелководе малые рыбки, в темных омутах важно шевелили плавниками карпы и сазаны, высматривали добычу хищные глаза щук. А на прибрежных камнях грелись стаи лебедей и уток, розовели застывшие изваяния фламинго и колыхались неуклюжие кошельки пеликаньих клювов. Ранней весной, когда высоко в горах расцветали кроваво-красные анемоны, стремительно поднимались над водой озера стрелы белоснежных лилий, и на

рассвете, медленно покачиваясь в такт дуновениям прохладного ветра, раскрывались розовые глаза лотоса.

И была жизнь озера столь прекрасна, что и люди не могли не стать ее отражением. Два города воздвигли они на скалистых берегах, словно два драгоценных камня украсили грудь озера. В одном из них жили те, чья душа искала самовыражения в чувстве. Поэты бормотали свои созвучья, художники покрывали фресками стены домов. В укромных патио была слышна музыка. По вечерам толпы собирались вокруг певцов и лицедеев. И не было ни одного жителя в городе, кто бы не создавал прекрасное — в камне, в песне, в краске и линии, в движении или слове.

А другой город был строг и молчалив. Его населяли те, кто посвятил свою жизнь мысли. Бородатые философы застывали в долгих раздумьях, геометры чертили на песке свои теоремы, хитроумные механики мастерили странные приборы и машины, мрачные химики корпели над расплавленными металлами, а в гигантском здании лечебницы собирались тысячи жаждущих исцеления, и лекари и хирурги облегчали их страдания.

Два священных города стояли на берегах прекрасного озера. Разные, очень разные люди жили в этих городах, но было у них одно общее: они были творцами.

И возревновал Господь к своим созданиям. И послал к ним ангелов. Вышли навстречу посланцам Его лучшие из лучших: те, кто изображает и исследует Мир. И спросили ангелы: "Боитесь ли вы Господа, вашего Творца?" — "Нет, — отвечали жители городов, — не боимся. Мы почитаем и любим Его и благодарны безгранично, что наделил нас чудесной творческой Силой и поселил здесь, на берегах, цветущих жизнью". — "Соблюдаете ли вы Закон Господа, по которому жена, женщина — плоть и кровь мужа, мужчины, созданная из его ребра и потому подчиненная ему навеки?" — "Женщины наших городов вечно славят Господа, выведшего их из небытия. Но где сказано, что пришедшая второй в этот Мир должна подчиняться пришедшему первым? И мы видим в женщинах равных мужчинам созданий, столь же горящих

творчеством и столь же способных к познанию". И еще спросили ангелы: "Служит ли Любовь основе Творения — продолжению человеческого рода через деторождение?" — "Да, служит. Но для нас Любовь — и ее смысл — не только деторождение. Любовь — это творчество двух объединившихся телами для творения духовного. Ибо продолжение рода человеческого не только в количестве рождающихся людей, но и в рождении и сохранении образа и мысли. И потому для нас не столь уж важно, кто и как любит: мужчина ли женщину, мужчина ли мужчину или женщина — женщину".

И смутились ангелы Господни. Лот же, племянник Ноя, видя их смущение, послал своих дочерей, славившихся умом и красотой, для утешения гостей приветливой беседой и благоуханной пищей. И были дочери Лота столь соблазнительны и прекрасны, что ангелы попытались овладеть ими. Сбежались на крики насилуемых жители обоих городов и спасли дочерей Лота. Ангелов же вывели они за ворота и оставили там одних, в пустыне. Молчанием и брезгливым презрением проводили они их. И не поняли жители городов, что послал им Господь в ревности своей — худших из худших слуг: Зависть и Вожделение.

И вернулись они к Господу в разорванных и запятнанных похотью одеждах. И солгали они Господу по желанию Его. "Вот, несказанное бесчестье понесли мы от жителей обоих городов Твоих. Хотели совершить насилие над нами, но Лот, Твой слуга, не позволил ему совершиться".

И встал Господь и послал ураганы и бури, молнии и землетресения на города. Серой и лавой вулканов сжег их, и в глубокие провалы упрятал сады и здания. И вода в озере поднялась, наполнилась кровью и слезами и так и осталась — мертвой навеки. Погибли рыбы и растения, птицы и люди. Лишь вечные слезы покоятся теперь в котловине меж фиолетовых гор.

Так в памяти людей отпечаталось сказание о великих грешниках Сдоме и Гемарре, где люди творчеством и Любовью вызвали ревность Господа.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ...

Этапы... Гремит потьминская одноколейка. Проплывают запретки, крыши жилых и рабочих бараков. Зоны, зоны, зоны... А меж ними — долгожданные чащобы елей и сосен. Снежно и задумчиво. Вот и родная потьминская пересылка. Те же темные, серые камеры, заплеванные полы, колыхающаяся жижга параш... Ну что ж тебе сказать в этом последнем письме из лагеря? Ведь не пройдет и месяца, ну от силы полтора, и я, может быть, услышу твой голос?! Слава Беллу, Маркони и еще кому-то, Попову, что ли. А пока бросили меня на этап. С точки зрения шмонателей — я существо странное и опасное. "У него там в мешке одни книжки и все про науку. И писанины этой — ворох! Вроде и шмонать нечего, а опасно. Может, это все антисоветчина. А барахла нет".

Не знаю, по какой причине, но в моем деле через всю первую страницу — жирная красная полоса. Спрашиваю, расписываясь: "Начальник, а это что за знак красный у меня начерчен?" Кирпично-краснощекий сержант кривит губы: "Особо опасный преступник". Проникаюсь уважением к себе. И беззастенчиво использую свою документированную преступность и ужасность, — вкатываясь в очередной "столыпин", громогласно заявляю: "Начальник, я — семидесятая — особо опасный!" И в большинстве случаев начальник встряхивается и довольно обходительно ведет в одиночку. Что и является основной моей целью. До Сибири — далеко. Каждый этап — это длинных три-четыре дня в медленно ползущем поезде. Солдаты прикладами и сапогами втискивают в каждое столыпинское купе по 20-30 человек простых, не опасных (убийц, насильников и даже одного людоеда видел), а особо опасным, вроде меня, все-таки привилегия: полагается полная изоляция, то есть одиночное купе. Я сижу в моем зарешеченном одиночестве и могу видеть только малую часть вагонного коридора и прогуливающегося вдоль него солдата с каменно-пасмурным лицом. Остальные обитатели "столыпина" для меня лишь голоса — мужские, женские, старушечьи, ломкие юношес-

кие... В короткие мгновения, когда меня ведут в туалет в конец вагона (никогда не думал, что опорожнение емкостей человеческого тела может быть чисто чувственным наслаждением), так вот, когда ведут меня в туалет, успеваю выхватить три-четыре лица, прижавшихся к решеткам "купе", да в последней камере поражает абсолютное женское ню. Две-три дамы, распаленные долгожданным мужским соседством, "не держат на себе белья", выражаясь психиатрическим жаргоном, и всю дорогу до очередного этапа проводят голышом, несмотря на матерные увещевания и битье солдат.

Пытаюсь читать, но не выходит. Отвлекают голоса, отвлекает особая атмосфера этапного вагона, ставшего из-за "самой гуманной" кастрирующей системы советской тюрьмы местом столкновения и взаимодействия вечного мужского и вечного женского начал. Как и я, они сидят в отдельных камерах и не могут видеть друг друга, но лишь металлические перегородки разделяют тела, а животные запахи дурманят сознание и обостренные многолетним ожиданием половые инстинкты вырываются на свободу, разрушая тонкую оболочку цивилизации. "Тебя как звать?" — слышу я застенный разговор. "Ну, Семеном! А тебя?" — "Назови хоть Машей, да засади по самые яйца!" — "Давай, давай, поженимся! Ты с какого года?" — "Какая разница? Главное, трипера со мной не схватишь. У тебя хер-то есть?" — "Ха, еще не оторвали менты, хоть и третью ходку иду". — "А залупа большая?" — "С куриное яйцо, когда лежит, а как встанет — больше бильярдного шара!" — "А мы ее мыльцем, али салом смажем, и пройдет она, родная, до самой матки". — "Нет, ты сначала мне минет сооруди, чтоб глаза на лоб вылезли!" — "Что ты, милой, я эту твою белую гадость глотать не буду, а по лицу, да между грудой размажу". — "Эх, Маша, дотронуться бы до твоей п...ни! Я бы ее, милую, зубами рвал и языком вылизывал!" Да, разговорчики... Напряженное лицо часового, делающего вид, что не слышит этих призывных обезьянье-птичьих песен и перекличек.

Другие голоса: "Ты какого же возраста будешь, бабуся?" — "Восьмой десяток пошел. Вот уж не думала, что так

путешествовать буду!” — “Да-к за что тебя-то?” — “Да, сволочь, председатель наш — выслужиться перед райкомовскими решил. Самогонщицу, говорит, обнаружил. А чего меня обнаруживать? Я же этого гада сахарным самогоном двадцатый год упиваю. А вишь — под кампанию попала. Два года дали...” Сиплый мужской бас: “Ты, паренек, часом не по ошибке тут? Тебя в детскую колонию по виду надоть”. — “Да, паспорт на неделе получил...” — “Шеснадцать, значит, а по виду так и четырнадцати не дашь. Ну, и какая статья?” — “Да не упомянул я номера-то. За воровство социалистической собственности...” — “М-мм — воровать нехорошо — это точно, да что же ты у СССР своровал-то?” — “Да я, дяденька, вовсе и не воровал. Три года назад — был еще в четвертом классе — забежал в нашу ограду щенок. Веселый такой. Ну я мамку и упросил оставить. А щенок-то, вишь, из милиции от породистой овчарки. Они его искали, да бросили. А теперь вдруг увидели, что пес мой на ихнюю овчарку смахивает, и в суд меня повели. Я все как есть рассказал, а судья — женщина — говорит: “Это воровство социалистической собственности”. Я отвечаю: “Не воровал я, а он сам ко мне прибежал и остался”. Она как заорет: “Пять лет тебе влеплю, хулиган!” — “И влепила?” — “Ага, три года дали. Пес-то мой небось меня не узнаёт, когда возвернусь...”

Иногда мне кажется, что вся Россия погрузилась в вагоны этапного поезда и движется куда-то, переговариваясь, матюкаясь, голодая и тихо печалась... Завистливый женский голос: “Ты гляди, Верку-то сержант уже третий раз в туалет ебать водит. Ну, сука!” — “Конечно, молодая она, да фигуристая. Ее и в лагере сам начальник зоны сколько раз на вахту заводил...” — “И как же вы, бабоньки, без мужиков столько лет?” — “Мы тебе, подружка, такого кобла в зоне найдем, что никакого мужика не надо!” — “Тьфу ты, мать твою, — что говоришь!”

Ночь. Вагон постепенно умолкает. Можно и почитать наконец. К моей решетчатой двери приближается давешний каменнолицый часовой. “Тебя, то исть вас... почему отдельно держут?” Мальчишечье лицо. Наверное, первый год. Начинаю

медленно объяснять. Как говорится, от истоков. Зачем-то углубляюсь в советско-еврейскую эпопею. Вытаскиваю альбом с израильскими открытками. Серые напряженные глаза внимательно вглядываются в глянцевые пейзажи Тель-Авива, Беер-Шевы, Иерусалима. "А в газетах пишут — один песок да камни..." Часовой внезапно отскакивает от моей решетки. Слышны сапоги вдоль коридора. Хлопает дверь соседнего "купе". "Ну, наеблись?" — спрашивает знакомый женский голос. "Иди ты..." — "Ты меня не посылай, блядь ментовская, проститутка, тряпка солдатская". Начинается скандал. По вагону топочут солдаты. Гикают голоса: "Наподдай ей, Верка, да за волосы ее об стенку!" Хлопают двери. Все утихает. Снова приближается часовой. "И за это вы срок схлопотали?" — "Откуда ты?" — спрашиваю. "Из Владимира. Муторно мне тут. Грязь вся людская наружу тут вылезает. За полгода такого навидался! Удавиться хочется... И сказать некому. Все словно каменные, да из первого отдела все шастают..." Солдат снова отскакивает от решетки. "Я тебя, Петров, если еще раз замечу у этой камеры, — рапорт подам! Два наряда тебе за это!" В мое поле зрения вползает профиль сержанта. Тоже молодой, но уже пообтертый этапами...

Я не заметил, как задремал. Проснулся от толчков и скрипа вагонов. Отворяется дверь моей камеры: "Руки за спину — на выход!" За спиной топочет сержант. Мельком замечаю любопытствующие физиономии за решетками. Вплотную к ступенькам вагона подогнан воронок. Начинаю сходить — и вдруг среди гомона и шума голосов слышу знакомый юношеский голос часового: "Счастливо тебе добраться до дома!..."

Спасибо тебе, Господи, что послал мне этот голос. Спасибо тебе, Господи, за Надежду и Веру!!

1978—1983

Беер-шева—Нью-Йорк

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БОГУЧАНСКИЕ ЧАЕПИТИЯ

Горяч и влажен воздух Сухума. Где-то далеко внизу, под горой, плещется зелено-голубое море. А здесь, в моей клетке, где я провожу большую часть студенческой практики, душно-вато и пахнет фекалиями обезьян. Одна из них, рослая павианиха Машка, устроилась у меня на коленях и деловито ищет насекомых в моей, довольно волосатой руке. По коричневой ладони — ползет гигантская вошь. Благословенная близорукость: я могу различить мельчайшие чешуйки на ее коротких ножках. Хм, я не предполагал, что у вши есть глаза. Большие, голубовато-серые, с ленивой поволокой. Они подмигивают мне, и я слышу голос: "Дремлешь, дедушка?" Вошь ползет по красно-красавому свитеру. "А я вот не могу заснуть. Ведь завтра, нет, уже сегодня — освободят меня начальники и покачусь я далее по нашей самой свободной и самой могучей..."

Я открыл глаза. Надо мной нависает рукав свитера и лицо с голубовато-серыми глазами. По рукаву ползет вошь... "Разбудил я тебя, дед, ты уж прости-извини! Душно на верхних нарах... И муторно мне чегой-то". Действительность возвращается ко мне. Змеятся трещины по облупленным стенам. Черная ниша окна, забранного решеткой. Бетонный, заплесневевший пол, закопченный бок параша. Новосибирский, вернее, Николаевский централ. Камера набита до отказа — человек пятьдесят, а может, и более. Все больше ссыльные или, как и я, выходящие из лагеря в ссылку. Ссыльные держатся

особняком. Побаиваются лагерников. Они легко отличимы по одежде. Непривычные после серо-пузатых ватников прямолинейные очертания пиджаков, еще сохранившие утюжку брюки и, главное, штиблеты. Испуганной кучкой толпятся в углу камеры южного вида люди — то ли грузины, то ли армяне. В большинстве случаев это нарушители правил движения или "алиментщики" (то есть беглецы от алиментов). Они почему-то одеты особенно модно, но тонкие чесучовые пиджаки, огромные "аэродромы"-кепи и лакированные туфли как-то странно и жалко выступают из желтого двухсотсвечового изобилия общарпанной камеры.

Мой сосед, величающий меня дедом, вполне прав: за два месяца путешествия по этапам — от Мордовии до Сибири — густая сивая борода основательно занавесила мои щеки, подбородок и даже шею, превратив меня в дремучего тюремного старика. Моему соседу, по-видимому, лет 35-40, то есть мы почти ровесники, но я не хочу его разочаровывать и потому недовольным голосом спрашиваю: "Тебя что — насекомые заели? Спать людям не даешь!" — "И это есть, батя, — обрадованно отвечает сосед, слезая с нар и присаживаясь у меня в головах. — Везут они меня, суки, третий месяц, а баня была только в Перми! Ты, дед, не спи, трепаться мне сейчас охота, ведь свобода мне выпала, кто же в последнюю тюремную ночь спать может?" Сосед снимает рубаху, обнажая сухое мускулистое тело с характерной желтизной застарелого чифриста. В швах рубахи — черное копошение вшей. Все мое тело начинает неудержимо чесаться. "Я уж и морозил их и паром обжигал, а живут, сволочи!" Я поднимаюсь и достаю из рюкзака чистую серо-белую рубашку. "Сожги ты ее, а эту одень", — говорю я соседу.

"Ну, дед, большое тебе спасибо! Не ожидал гостинца, а вишь, судьба иногда в масть подает! Ты это отчего такой щедрый? Тоже на свободу идешь или в ссылку?" — "В ссылку", — отвечаю я ему коротко. "Тоже завтра?" — "Нет, послезавтра". — "Все одно на этой неделе, — утешает он меня. — Я, батя, второй раз ведь барабаню. Первая ходка давно была — молодой еще был — семнадцати не исполнилось". — "И за что

же тебя тогда-то?" — спрашиваю из вежливости, надеясь, что разговор на этом оборвется: не многие старые лагерники любят ворошить тюремное белье. Но это исключение. "По глупости, да по пьянке попался. Я тогда под Ярославлем на мясо-молочном комбинате вкалывал. Здоровый был — туши резать да разделывать. А тут у дружка моего свадьба намечалась. Я и говорю ему: "Подарок тебе, говорю, Колька, сделаю — до могилы мою дружбу помнить будешь!" Ну, он, понятно, удивляется: "Ты что же, "Волгу" что ли мне купишь?" — "Ну, не "Волгу", а почти, — отвечаю. — Приходи завтра с Аськой (невеста его) к мясозаводу с заднего хода, да машину пригони (он тогда шоферил на лесопилке), там увидишь". Ну, приезжают они с Аськой на завтра к вечеру. А я знал, что к тому времени совхозники корову и бычка пригонят. Я и говорю Кольке: "Вы тут сидите тихо и не рыпайтесь, пока не кликну". А у самого под пинжаком обрез спрятанный. Гляжу, подгоняет старичок скотину к воротам, только хотел звонить, я к нему с обрезом: "Ты, батя, уматывай, пока цел!" Он руками голову прикрыл и прямо от страха на валенки присел. А я бычка молодого в сторону отвел, да меж рогов из обреза его пульнул. Тут Колька да Аська на выстрел прискакали. Мы Аське польта свои да пинжаки отдали, а сами давай скотину потрошить. Следовательно потом удивлялся — за шесть минут все разрезали и упаковали, только кровавое пятно, да потроха оставили. Я ж в этом деле мастак был! Конечно, мы с Колькой маленечко под газом были тогда. Как же, не без этого. Нам бы, дуракам, на букву "м", мясо загнать нужно было, не додумали. С самой свадьбы нас позабыли, а копыта да рога, что теща колькина не успела выкинуть как вещественные прошли в суде. Судья все с секретаршей хихикали: "Банда "Рога и копыта", говорят, как в "Золотом теленке". Аське год дали — за то, что польты держала, жениху три года, ну, а мне как зачинщику — я и не отнекивался — по объебаловке шесть лет строгача, да судья веселый был — четыре года простого режима дал.

Два года отсидел, а потом на химию послали. На Урал. И почти все уже досидел — три месяца до срока оставалось, так

черт попутал: с бригадиром из-за расценок полаялся. Год добавили. Вышел я, значит, и в родной город вернулся. А на работу не берут: доверия нет. Что делать? На механический пошел. Денег ни хуя, учеником взяли. Общежитие это засраное: пять парней в одной комнатухе, точно в лагерном бараке. Отличие одно: баб можно водить. Приходишь с работы, жрать хочется, спать хочется, а ребята из техникума — молодые, им что — выпивка да ебля на уме. На койку завалишься, а сосед со своей очередной скрипят да пол трясут, как кролики в клетке. Решил я тогда деньги копить на кооператив, чтобы хоть свой угол занять, ну и мастер мой на заводе присоветовал — в спорт-лото играть. Я и начал. Сколько рублей извел — не помню. И никакой выгоды — шлак и все тут! И, главное, пристрастился я к этой игре дурацкой. Однажды был в пивнухе после работы, купил, как сейчас помню, три билета, пометил их разными номерами, а на каждом намалевал: "Все это хуйня и обман народу". Да и бросил в почтовый ящик.

Через два дня меня мастер подзывает, а сам бледный такой: "Ты, Ваня, ко мне в будку зайди, там тебя товарищ дожидает". Я иду к нему в его будку стеклянную и удивляюсь, что за товарищ такой?! Поднимаюсь туда по лестничке, и вправду товарищ сидит — тихий такой и аккуратный, в костюмчике синем и при галстукке. Смотрю, перед ним мои билеты лежат, с надписью, значит. Он и говорит: "Вы, гражданин, эти бумаги знаете?" Мне бы сказать: "Нет!" и все тут, да язык подвел... Короче, "товарищ" этот из КГБ за мной пришел. И как они до меня докопались — не представляю! Я все думаю, что это Петька из кузнечного донес. Он тогда со мной в пивнухе был да подписи мои видел.

Суд был общественный на заводе, нет, не общественный, а по-другому... Показательный. Партком, местком, общественность обвиняла. Петька из кузнечного — обвинителем был: "Сизов, говорит, он каждый день выпивши!" Все аж за бока схватились: "Петька — трезвенник!" А Петька этот — самый первейший пьяница, жена от него через это ушла. В общем, дали мне за антисоветское хулиганство по 190-А три года да

по 70-й за политику — четыре года строгого режима. Семь лет как корова языком слизнула. Антисоветчик я теперь до самой смерти. Ни в столицу, ни к Черному морю — только глухие города да села!”

Сосед поднимается, идет к параше и отливает. Чиркает спичка, и сквозь смеженные веки я вижу, как загорается его вшивая рубашка. Черная копоть столбом вздымается к закопченному потолку. ”Спасибо тебе, дед, еще раз, — в чистой рубахе на свободу пойду!” Сосед забирается на нары, и вскоре я слышу его мощный басовитый храп. Ночь в самом разгаре. Тихо в камере. Под моими нарами скребется мышь. Что-то непонятное бормочут грузины, ворочаясь от холода под нейлоновыми плащами. Завтра и еще один день — и прощай, тюрьма!

Ранним февральским утром в последний раз распахнулась кормушка и бегемотообразная физиономия мента произнесла: ”Кто тут?” — ”Я за него буду”, — отвечивал я с невольным идиотским ухарством. ”Собирайся с вещами, к начальнику пересылки на разъяснение”. Сердце неприятно екнуло. Я слышал о случаях, когда в день освобождения по приговору внутреннего тюремного суда срок продлевался на годы, изменялся режим, и вообще опыт жизни научил меня, что при развитом социализме возможен любой азиатский произвол. Словом, с тяжеленным, наполненным книжками рюкзаком за спиной взобрался я по лестнице и был введен в обшарпанный кабинет начальника тюрьмы. Все — с некоторой провинциальной небрежностью — повторяло тут кабинеты мордовского, московского и прочих лагов и исправительно-трудовых учреждений. Кислый прокуренный запах, стол, накрытый зеленым сукном, на стене благообразный, заретушированный Андропов, а супротив его рядышком два Ильича: один хитро щурится из-под мятой кепки, а другой благородно устремил взор в светлую коммунистическую даль. За столом восседала некая потерянная личность, безразлично рассматривающая меня. На плечах синели погоны капитанского достоинства. ”Объявляю вам, — произнесла личность, не выпуская сигарету, зажатую в углу рта, — что с сего числа, с

12-ти часов дня вы освобождаетесь согласно приговора Московского Нарсуда и направляетесь для отбывания ссылки в Богучанский район Красноярского края". — "И что я там должен делать?" — наивно спросил я. "Явитесь в районное отделение милиции, там скажут". Начальник встал, потянулся, не выпуская сигареты изо рта. "На лесоповал тебя скорее всего pošлют!" — внезапно проговорил он.

Выйдя из кабинета, я обнаружил, что меня уже ожидают два здоровенных мента с кирпично-красными обветренными лицами. Тут же они быстренько устроили мне шмон, но очень либеральный. Даже рюкзак не раскрыли. Только по карманам похлопали да ватник расстегнули. Историческое событие — последний тюремный шмон! Даже обидно, что он прошел так бесцветно. Затем мы все затопали по лестнице вниз. У подъезда среди месива оттепельной грязи уже стоял воронок, набитый, как обычно, до отказа зэками. Меня впихнули в него, и я обнаружил, что прямо у моего плеча высунула язык и тяжело дышит огромная немецкая овчарка. "Не проходи далеко, — сказал мне мент, — мы с тобой в аэропорту сходим".

Странное ощущение охватило меня, когда я очутился в огромном, после тесных пересылочных камер, зале Красноярского аэропорта. Что-то случилось с моим зрением, и я мог наблюдать пеструю мельтешащую толпу и в то же время рассматривать себя. Нелепая фигура в толстом, не по размеру широком и длинном ватнике. Физиономия, заросшая по самые веки буро-седой бородой. За плечами — пухлый рюкзак. Валенки. Мент суетился где-то вдалеке у касс. Смешные, похожие на медведей дети в пушистых меховых пальтишках столпились около меня и рассматривали мою внешность, разинув розовые рты. Подлелевший мент растолкал их, сунул мне в руку лоскутки билетов и повел куда-то из аэропорта. Оглушенный и убаюкиваемый гулом людских голосов и ревом моторов, шел я вслед за ментом, деловито несущим под мышкой какую-то папку, через огромное заснеженное поле к серебряной стрекозе самолета. У трапа нас встретила какая-то очень не стюардесная стюардесса, живо напоминавшая своим топорным обликом ментовок из Лефорто-

ва и тюремной больнички, что на пятой зоне. Мент вручил ей папку, указав при этом на меня. "Его бумаги. В милицию отдашь, там уже знают, мы по радио все передали". Ну вот, предчувствие меня не обмануло: стюардесса и по совместительству — "сопровождающая ссыльных до места отбывания наказания".

Поплыл подо мной пол самолета. Забытое ощущение легкости и нереальности. Самолет летит низко. Разворачиваются причудливые повороты и извивы каких-то речек и речушек, из-под белой пелены снега торчат черно-зеленые щетки сосен и елей. Проходит час — все тот же лес и тот же бесконечный снег, прорываемый кое-где оскаленными зубьями обнаженных скал. Сосед мой равнодушно смотрит в иллюминатор. Неудержимый зуд узнать хоть что-то о будущем месте моего пленения заставляет меня вступить в разговор. "Местный?" — "Нет, — командировочный, но не впервой в Богучаны лечу. Дыра из дыр — худшая. Одно хорошо — крупы в магазине есть. Жена гречки да овсянки наказала взять". — "Ну, а кто живет там?" Командировочный с недоумением смотрит на меня. "Люди — всякие. Швали этой послетюремной — полным полно. Бичей то есть". Разговор прерывается. Иероглифы. Я — понятно, послетюремная сволочь. Кто такие бичи? Гречка, овсянка — это понятно: при развитом социализме жрать может только тот, кто живет в центре (района, области или страны) — остальные должны снаряжать экспедиции в эти центры за товарами. В Москве еще до ареста я видел подмосковных жителей с рюкзаками, полными колбас, селедки и прочей снеди. В 20-ти километрах от Москвы в магазинах — хоть шаром покати. Вот и организывают жители какого-нибудь Захарьина или Марьина ходок в Москву — закупить продуктов на неделю для всего дома или даже квартала. Со слов командировочного ясно, что Богучаны в каком-то смысле — центр. За гречкой и овсянкой туда едут. Н-да. Сосед засыпает и начинает храпеть. В самолете жарко. У соседнего ряда кресел прилегла и тяжело дышит, высунув розовый язык, мохнатая остроносая лайка с удивительно светлыми зелено-желтыми глазами.

Стюардесса подходит к моему месту и тихо, почти доверительно сообщает: "На посадку идем. Ты как в Богучаны прибудешь — не задерживайся по дороге: ступай прямо в райотдел. Там тебя зарегистрируют". — "Да, где же это?" — "Как из аэропорта выкатись — держись левой стороны, а потом повернешь в первый проулок направо. Километра два протопаешь — тут тебе и милиция. Каждый покажет — не волнуйся. В Богучанах она одна — на весь район". Самолет ныряет на посадку. Из плоского белоснежья внезапно вырастают волнистые, зубчатые пригорки и холмы. Рядом с ними видна широкая плоская равнина — авиационное поле, а чуть в стороне нагромождение серо-черных кубиков — Богучаны, ссыльная сторона.

Хрустит под ногами крепкий снег. Непривычно рессорят доски деревянного тротуара. У самого аэропорта — дома, добротные, новые, за высокими заборами и под железными крышами. Дальше к окраине, к милиции — дома покосившиеся, почерневшие от времени. Глубокие, еще с осени, колеи чуть припорошены снегом. Худосочные деревья машут голыми ветвями. Несмотря на полдень, улицы почти пусты. Рюкзак — тяжеленный. Медленно я брел, изредка отдыхая и спрашивая прохожих. Вид мой тюремно-туристический, видимо, никого не удивлял и не трогал. Перед милицией столпились газики и воронки. Скрипя тормозами, проковыляла и остановилась санитарная машина. Из нее с воем и криками выкатилась толпа каких-то непонятных людей в разорванных меховых тулупах, в высоких унтах и тяжелых рукавицах. Толпу встречали одобрительно и понимающе улыбающиеся менты. "Охотники гуляют!" — проговорил кто-то в капитанской форме. Из соседнего здания с синей вывеской "Районный вытрезвитель" на крыльцо выбежали две дородные женщины в белых халатах. "Да тащите их сюда! Чего на эту пьянь глядеть!" — заверещала одна из белохалатных. "Мы их живо ледяной водицей попотчем!" С матерными криками и мордобоем толпа полупьяных и совсем обезумевших людей была загнана на крыльцо, и дверь в вытрезвитель с грохотом зах-

лопнулась, выдохнув на мороз клубы пара и теплого воздуха.

”Новичок, значит, прибыл! Садись, батя. Тебя капитан сам вызовет!” Говорящий мент — дежурный у входа — был розовощеким, упитанным и крепко пахнувшим спиртом. На деревянной скамье в прихожей уже сидели какие-то люди, видимо, тоже ожидавшие вызова. ”Ты, папаша, — обратился дежурный к моему соседу по лавке, — домой лучше ступай. Сегодня свиданки не будет. Завтра приходи. Старуха твоя одна в камере ночь поколобродит, да отоспится. А завтра — следовательно с ней работать будет...” — ”Дак спяну же она его рубанула. Чтой-то ей померекалось...” — ”Спяну — не спяну, — строго проговорил дежурный, — а попытка убийства налицо. И нужно же, сына своего чуть не до смерти резанула. Он у тебя тоже хорош. Так и не понял, что смерть пришла. Врач-то шею ему зашивает, а Варька — старшая сестра — морду себе марлей затыкает: запах такой, что хоть закуску в операционную ставь!” Наискосок от меня в приоткрытую дверь глядели до тошноты знакомые двери с волчками и кормушками. Ага, значит, райтюрма — тут же, в этом же здании. Да, в этом местечке вместо воды, по-видимому, употребляют спирт...

Капитан назвался Николай Михайловичем и оказался неожиданно мягко говорящим и мягко стелящим человечком. ”Вы ночку у нас в котельной передремлете, а завтра, с утрачка пораньше, ступайте по селу работу искать. Официально вам объявляю, что работа в системе образования и медицины вам запрещена. Только тяжелый физический труд. Даю вам три дня на поиски. Ежели не найдете — предупреждаю: мы сами вам работу найдем. Скорее всего, на глубинку, на лесоповал или на химическую обработку деревьев пошлем. Так что желаю успеха!”

Я спросил мягко стелящего, прибыли ли вместе с моим делом деньги с лагерного счета. ”Нет, — спокойно заявил Николай Михайлович, — они еще долго гулять будут: месяца два-три”. — ”Тогда одолжите, пожалуйста, рубль — телеграмму в Москву послать. Мне друзья сегодня же переведут, и я вам возвращу”. — ”Э, нет, — весело и задорно прого-

ворил капитан. — Ежели я всякому эку одалживать рубли буду — мне зарплаты не хватит!” — ”Так что же...” — начал я и осекся. Снова тон и мягкость формы обманули меня. ”Да не забудьте: каждую пятницу приходите ко мне отмечаться. Объявляю, что если дважды пропустите отметку без уважительной причины, будем считать вас в побеге”. Н-да — пени-тенциарная, самая гуманная система в работе: выбросить человека без денег и жилья на улицу и весело-равнодушно смотреть, как он извернется, и если нет, то взять его, голубчика, снова в те же казенные помещения. Да, ситуация...

Я перетащил рюкзак в теплую, пропахшую угольной копотью котельную милиции. Там копошился у печки какой-то чумазый человек, оказавшийся при ближайшем рассмотрении совсем молодым пареньком из вытрезвителя. ”Четырнадцать суток судыха, сука, дала, — сообщил он мне. — Вот и вкалываю тут, ментам жопу грею. Я из Беяк сюда пришел, на курсы мотористов — да запил”.

У черной покосившейся трубы я заметил осколок зеркала. ”Горячая вода есть?” — спросил я нового знакомого. ”Сейчас будет! — и указал на закипающий на конфорке чайник. — Ты посмотри за печью, а то меня сейчас в столовую пошлют — э-кам обед нужно притаранить”. Не знаю сам, почему — какой-то импульс заставил меня побриться тупой, ржавой бритвой, что я нашел около зеркала. Впрочем, чего тут. Вполне понятный импульс. Мне хотелось счистить, срезать седую поросль с лица как один из тюремных знаков. В зеркало на меняглянуло незнакомое худощавое лицо с глубокими носо-губными складками. Глаза запали и таинственно поблескивали при свете желтой, почему-то нервно мигавшей лампочки. ”Э, ты еще не старый, — услышал я голос моего нового приятеля. — А я-то думал, что ты лет за шестьдесят. И чего тебя сюда кинули? У нас тут своих бичей хватает!”

Опять то же таинственное слово. Но лучше не спрашивать. В тюрьме опасно показывать неосведомленность и задавать вопросы. Там видно будет. А пока я пользуюсь добротой приютившего меня ”трезвенника” и поглощаю тюремную гречневую кашу. Вкусно! Три года в Мордовии ее не пробо-

вал. Жуя, я как бы невзначай спросил моего гостеприимного хозяина котельной: "А ты тоже из бичей будешь?" — "Я?! Ты чего же это меня оскорбляешь? Если я из вытрезвителя, так уж и бич? Я из потомственной рыбацкой семьи, дед мой по всей по Ангаре известный был..." Смешавшись, я стал извиняться: "Так я думал — бичи это вроде народности..." Трезвенник, назвавшийся Степаном, захохотал: "Ну да, народность особая: ни кола ни двора, одно бывшее воспоминание, бывший интеллигентный человек — бич то есть. Это, паря, люди, что после тюряги жизни не нашли. Живут в лесу, а зимой по котельным ночуют. Еще встретишь ты их... Народность! — замотал он головой. — Ты вот ежели пути в жизни богучанской не найдешь, к бичам и покатишься, а я что? Выпил да поскандалил. У нас тут все такие. Но у меня семья, дом свой, а бич — он без корня, катится по тайге без племени и роду..." Ну что ж — век живи... Я еще расскажу о любопытной ветви человеческого рода, которую называют бичи. Раньше я думал, что она встречается только в коммунистической системе, но это отнюдь не так. И на свободной американской земле я встречал бичей, никак не вписывающихся в каноны и законы единогласно шагающего в ногу большинства...

Моя первая ссыльная ночь прошла как-то бесцветно. Помню только угар жарко пылающей милицейской печи. Изредка Степан будил меня, и мы вместе таскали ведрами уголь, насыщая ненасытную печкину пасть.

Скрипя валенками по свежавыпавшему снегу я двинулся ранним утром по богучанским улицам, раздумывая и раскидывая: как бы найти работу за три (!) дня в местечке, где все друг друга знают и где чужак, да еще с явно неблагоприятным прошлым (политический!) — лицо подозрительное и опасное. Сделав несколько шагов, я повернул машинально в какой-то проулок и внезапно вышел из толкотни заборов и избушек на просторный высокий берег Ангары. Где-то в стороне остался этот древесный ералаш и мусор, настроенный людьми, куда-то провалились все эти милиции, аэропорты,

вытрезвители и амбулатории, исчезли словно тени люди, пропахшие водкой и рыбой. И остался только чистый снежный ветер, мягкие холмы, ошетиленные лесом, причудливые рукава реки и сине-зеленое небо в петушиных перьях зари... И удивительная, покойная тишина, прерываемая только коротким взлаиванием собак. И думалось: все эти социализмы, фашизмы, коммунизмы и прочие измы прокатятся по Земле, как прокатились в прошлом чума и холера, голод и землетрясения, а вот эти синие холмы и фиолетовые тени, обнявшиеся у их поножья, и эта вязь реки, раскинувшаяся до самого горизонта, пребудут вовеки...

Дул крепкий и совсем еще зимний ветер, и я, борясь с ним, начал свое первое путешествие по Богучанам. Вдоль неподвижной ледяной Ангары унылыми извилистыми змеями протянулись незабвенные Советская, Ленинская, Коммунистическая улицы, а поперек их, деля село на прямоугольники и квадраты кварталов, пробивались сквозь грязь и снег — улица Буденного, Фрунзе и прочих маршалов. Писатели тоже увековечивались: Лев Толстой, Алексей Толстой, ну и, конечно, пролетарский Горький. Где-то в глухих закоулках еще сохранились отголоски былых времен: Николаевский проезд, Рыбацкая, Береговая, Челдонская...

Богучаны... Почему Богучаны?! Я шел вдоль покосившихся заборов с ободранными лозунгами прошлого престольного праздника: "Слава Октябрю!"

Может, двести, может, триста лет назад бежали из тюрьмы красноярской каторжники. Бежали, бежали, продирались сквозь дремучий лес, жрали их медведи и мошकारа, тонули они в болотах — и вдруг выскочили на крутой берег покойно катившей реки, заснувшей среди перинных холмов... И ни души кругом: ни полиции, ни милиции, ни жандармерии, ни КГБ. На радостях выдолбили каторжники из вековых деревьев чаны (а может, чугунные притащили с собой?) и варили пиво в них и уху... И славили они Бога этим: Богу — чаны...

Ну ладно, фантазии это прелестно, но пора и работу искать. Мой первый заход был в местный гошпиталь, то бишь районную больничку. Директор, то есть главврач, по фамилии Бут-

кис, примерно моего возраста, рано поседевший, немногословный человек, явно был смущен моим появлением. Он долго рассматривал бумагу об освобождении, какую-то записку из милиции, звонил куда-то, а потом, вздохнув, сказал: "Честно говорю: очень хочется мне вас взять на работу, но мест свободных пока нет, а если и будет, только место дезинфектора. Знаете, хоть и кандидат наук, но придется по отхожим местам с хлоркой да ДДТ ходить..." — "Может, в клинической лаборатории?..." — начал я было робко. "Нет, нет, — замахал он руками. — И не думайте — не возьму, на мне вся ответственность... Адрес оставьте, мы вас найдем, если что будет". — "Нет у меня адреса", — грустно ответил я. "Ну что ж, ну что ж, мы вас через милицию найдем", — бодро заключил главврач, поднимаясь и давая понять, что разговор закончен. Ну что же, первый ком — он всегда блином (по крайней мере в моей жизни).

Позже я узнал, что этот главврач — из семьи ссыльных литовцев, изгнанных из Литвы "освободителями" в серых шинелях в 1940 году, когда Сталин с Гитлером начали делить Европу: "Мне Литву, Латвию и Эстонию... А Польшу — пополам!..."

И покатались человечьи волны на восток, в Сибирь. Кто умер, кто сошел с ума, а кто и приспособился, вырастил детей, прижился на новой почве. Вот этот главврач, из этого второго поколения: осоветился (по крайней мере внешне) — стал местной интеллигенцией, получил образование в каком-то из сибирских городов, заседает в Советах, избирается в президиумы, получает льготы как член партии и член бюро райкома. А на стенах его дома — портреты с застывшими от ужаса глазами: отец-мать, вглядывающиеся в ледяную даль неведомого пути, трясущаяся подвода, груженная скорбью и где-то рядом он — будущий главврач, закутанный в старое одеяло и не понимающий, почему в одну ночь все так изменилось и вся жизнь стала нескончаемым странствием... Человечья приспособляемость — невероятна. Нам ли удивляться, видевших людей, переживших Освенцим и Треблинку? Нам ли обвинять этих, приспособившихся к совет-

ской каторге?! Ведь печи в Освенциме обслуживали те же заключенные...

Погрустневший, я вышел на крыльцо больничной конторы. Лесоповал явно становился реальностью. Что еще я умею делать, кроме как обучать неким абстрактностям и удовлетворять собственное любопытство, рассматривая некие детали микрокосма с помощью микроскопа? Я двинулся по заснеженной малолюдной улице. Дома, избушки, завалинки... Скрипучая упругость деревянных тротуаров... Из-за забора тянуло тяжелым запахом коровника. Идиллию деревенского утра нарушило появление странного существа женского пола. Создание в короткой ночной сорочке вылетело стремглав из ворот соседнего дома и, мотая распатланной гривой волос, прошлепало тапочками на босу ногу на противоположную сторону улицы. До меня донесся тяжелый запах перегоревшего спирта. Да, интересное место — Богучаны! Я побрел дальше. Все избы казались одинаковыми, грубо сколоченными срубами они вытоптали высокий берег Ангары и осели, зарывшись в снег. Незаметно для самого себя я миновал последний переулочек и очутился на широкой поляне. Аэродром, запретная для меня зона. Синие холмы, заросшие тайгой, синие тени распластанных крыльев...

Возвращаясь, я заблудился. И в глаза бросилась огромная почерневшая вывеска с коровьей головой: "Районная ветеринарная станция". Дальше мелкими буквами шло — министерство такое-то... и еще что-то. Но это уже было неважно. Ворота были широко распахнуты, а на тротуаре важно лежала лайка, внимательно проводившая меня взглядом. Этот глубокий, прозрачно-желтый взгляд собаки загипнотизировал меня, и я решился войти в ворота. Постучав, я отворил обитую рогожей дверь, и в лицо ударил острый запах карболки и каких-то незнакомых снадобий. В огромной зале-приемной, где можно было, по-моему, принимать не только коров и лошадей, но и слонов, на старом просиженном диване сидели две дамы — одна постарше, другая помоложе — и с любопытством смотрели на мою физиономию, еще по-тюремному короткие волосы и ватник с неизгладимой лагерной печатью. Та,

что помоложе и худощавее, осведомилась о цели моего появления. Путаясь и почему-то смущаясь, я рассказал, в чем состоит моя проблема. "И в ссылку, значит, сюда послали?! Вот я и говорю тебе, Мария Васильевна, что гиблое у нас здесь место. Недаром весь курятник колхозный от туберкулеза передох! Да вы садитесь, ватник снимайте. Я сейчас за директором сбегая, может, и есть у него какая-нибудь должность. Вы же с образованием..." Другая дама, пополнее и не столь приветливая, заметила: "Если ты не пьющий и серьезный, так нам сейчас, весной, санитар нужен — животным прививки делать, по району разъезжать". Хлопнула дверь, и на пороге появился высокий и страшно худой человек, за ним, приседая и тараторя, вкатилась первая дама, почему-то решившая меня опекать и протезировать: "Они, — указывая на меня пальцем, — с образованием, из университета, а нам сейчас, Николай Михалыч, санитар-мужик нужен. Я коров и быков за рога держать уже не могу, увольте. Тоня и Мария Васильевна — тоже не молоденькие, так что берите его, хоть временно — на весну, а там видно будет!"

Николай Михайлович подошел к столу, что стоял рядом с диваном, и принялся внимательно меня рассматривать. "Политический, значит. Бумага от милиции есть?" Я сунул мою бумажку. Он долго читал ее, а потом неожиданно пробормотал: "Мордуют людей, сволочи". Слова его повисли в неожиданной тишине. "Возьму я вас как временного работника, потому как ставок у нас нет. Может, позже из района что получим. Только я должен в милицию позвонить". Он быстро набрал номер. "Ну да, ну да... да нет же, я тебе говорю, что работа тяжелая — физическая — коров и лошадей удерживать во время прививок! Да брось ты, Коля! Мы же не колхозный скот прививаем, а частный. И кто это тебе мозги позасирал? Пятнадцать лет на этой работе и ни разу не видел вредителя. Ладно, ладно, под мою ответственность". Он снова изучающе посмотрел на меня: "Пьешь? Там увидим. Ночевать есть где?" Я объяснил свои денежные проблемы. "Мария Васильевна, выдай ему из черной кассы пять рублей. У нас тут, по-моему, матрас и даже белье к нему есть для командировочных".

Он вышел в соседнюю комнату. Худошавая дама весело закивала мне: "Вот видите, все и устроилось, а я завтра вас к одним старичкам поведу. Маша, ведь Вася с Нюркой комнате хотят сдавать?" — "Да вроде хотели они, да только не знаю, подойдет ли ему". — "А почему не подойдет? Старички они безобидные, не пьющие теперь. Нюрку, после как сын ее утоп, паралик разбил, а Вася — он все молчит да ее слушает..." Еще не веря, что действительно все устроилось, я пошел в милицию за рюкзаком. На пороге ветстанции лежала все та же лайка, и, повинувшись какому-то странному импульсу, я наклонился и погладил ее как старую знакомую. "Мы теперь работать вместе будем", — сказал я ей, поясняя мою фамильярность. Собака вильнула хвостом, что, по-видимому, означало вежливое приветствие. Так началась моя ветеринарная карьера.

Завьюжило к концу богучанской зимы. Невиданно крупные снегири облепили кусты и деревья, столпившиеся у окна. Жизнь потихоньку начала входить в новую и неожиданную для меня колею. Первые ночи я провел среди запахов ветеринарных снадобий и дымящей печки. В самую первую ночь я долго не мог заснуть, ворочался, дергался. Наконец, зажег свет и сквозь тяжелое, давно не протиравшееся стекло потемневшего от времени и грязи шкафа увидел выстроившиеся в ряд микроскопы. На длинном лабораторном столе поблескивали давно забытые аксессуары моей науки: предметные стекла, чашки Петри, пинцеты, скальпели, пробирки. И я впервые отчетливо и с болью осознал, что наибольшим мучением была разлука с этими предметами, вернее, с ассоциациями, с ними связанными. Все они, даже здесь в забытой Богом дыре, среди вони и грязи провинциальной ветстанции были символом цивилизации, были знаком абстрактной мысли, не связанной с поисками еды и тепла...

У меня даже слезы засвербили в носу. Мир — огромный, уродливый мир... Многокилометровая толща грязи и крови, и только на поверхности, где светит Солнце и ветер разгоняет миазмы, еще можно дышать. Наверное, я моральный выро-

док: ибо самыми сильными эмоциями моими всегда были чувства, связанные с абстрактной мыслью или с фантастической ирреальностью, воплощенной в красках, линиях или звуках. Я и в лагере выжил только потому, что была надежда вернуться к Солнцу, вынырнуть из океана насущных нужд и необходимости. Это и есть чудовищное мое извращение. Ибо подавляющее большинство людей живет физической и духовной связью с другими людьми. Для меня эти связи тоже очень важны, но именно "тоже". Если их нет, я могу быть замкнут на самого себя, и этого для меня достаточно. И несказанная пытка — быть вырванным из мира знания и быть погруженным в повседневную нудятину... Снобизм? Не думаю. Я ведь могу приспособиться, закамуфлироваться, точно хамелеон на розовых камнях, могу кашеварить и наводить уют, покупать кастрюли и стенные украшения. Камуфляж будет столь совершенным, что даже самые близкие люди могут обмануться и принять меня за своего. "Какой хороший муж" и прочее... Но внутри-то живет иной — чудовищный выродок, стремящийся вырваться из повседневности, готовый закопать в нее всех и, наконец, готовый бросить все и всех — лишь бы освободиться от проклятых пут.

Словом, глядя на всю эту лабораторную муру, я почувствовал, что освобождение возможно, что мой мир бесполезных сущностей может быть восстановлен. С этим отрадным чувством я и заснул под уютное завывание сибирской метели и потрескивание дров в облупившейся печи.

Утром следующего дня я пошел искать местную почту и обнаружил ее на милой, заросшей толстенными соснами и тополями улочке, ставшей с этого утра местом моего каждодневного паломничества. Сопровождаемый деликатно-любопытствующими взглядами двух довольно симпатичных почтовых дам, я испортил три или четыре бланка, пока сочинил наконец вразумительный телеграфный текст: "Мой адрес — Богучаны, Ветеринарная станция 2. Первомайский переулок, 7. Телеграфь деньги". Исправляя мои корявые буквы, одна из дам, ставшая впоследствии очень милой и доброжелательной знакомой, осторожно спросила: "Вы что же, на заработки сю-

да попали?" После моего правдивого объяснения она долго молчала, а затем, вздохнув, проговорила: "Вот что с людьми бывает... Да вы не беспокойтесь — телеграмму я сейчас на радио передам. Она в Москве сегодня и будет". Над крышей почты, действительно, высились огромные антенны: только по небу можно вынурнуть из Богучанья!.. Возвратившись на почту (рукавицы забыл), я услышал обрывок знакомого разговора между двумя почтовыми дамами, смущенно замолкшими при моем появлении: "Видишь, Зина, я и всегда так думала, что живем мы в дыре — раз сюда одних бичей, да всяких преступников ссылают..." Сделав вид, что я ничего не слышал, я любезно помахал обеим дамам и выкатился на морозный воздух. От рублей, данных мне взаймы сердобольными ветеринарами, осталось что-то рубля два. И я решил растянуть их как можно дольше.

Но мои благие намерения испарились под напором настоятельных напоминаний желудка о том, что, хотя уже почти восемь утра, вчерашняя гречневая каша была моей последней трапезой. Увидев за полуоттаявшими стеклами что-то напоминающее столовую или буфет, я отворил набухшую тяжелую дверь и вошел в грязноватую, обитую тесом и украшенную вычурными "модерными" люстрами залу. Днем это была обычная питейная забегаловка "самообслуживания", а вечером — еще более питейное, но уже злачное место, где, по общему мнению богучанцев, можно было не только хорошо выпить (то есть до полного озверения), но и "бабу прихватить".

Официантка, по-видимому, очень уставшая женщина, с тяжело накрашенными губами и густо подмалеванными глазами, наполнив мою тарелку чем-то необыкновенно ароматным и заманчивым, быстро спросила: "Выпить хочешь?" И, удивленная отрицательным ответом, обиженно выбила чек: "Два пятьдесят!" Почти все, что у меня оставалось после телеграммы. Н-да! Неумеренные желания и пустой карман не доведут вас до добра, гражданин ссыльный и временно изолированный! Боже мой! Никогда в жизни я не едал таких вкусных и ароматных котлет, окруженных холмами жирно

блестевшей картошки и облитых коричнево-красным томатным месивом. Но... неблагодарен человек! Месяца через два я уже видеть не мог этих самых котлет с ясно различимым и преступным привкусом ржаного хлеба, а "модерные" тесовые стены и эти кубические люстры, и затоптанный пол были для меня ничем не лучше лагерной барачной столовой. Но вернемся к моим баранам, вернее, коровам, быкам, свиньям и собакам.

Мой первый рабочий ветеринарный день начался с почти праздничной суматохи: в пресловутую залу-приемную, неуклюже перебирая копытами, вошла буро-пегая корова, а вслед за ней вкатилось некое квадратно-округлое существо, оказавшееся ее хозяином — неопределенного возраста и пола. "Вишь, теленка еще третьего дня принесла, а послед не вышел! Мучается она — всю ночь спать не дает, бычка к себе не подпускает... Ты, может, лекарство какое знаешь, чтобы опросталась она?" Впервые в жизни, хватая, так сказать, корову за рога и привязывая ее к станку, я начал объяснять хозяину, что я тут лицо новое и подчиненное. "Так где же Марья тогда?" На мое счастье давешняя полная дама — Марья Васильевна появилась и бурно атаковала хозяина коровы: "Ты чего, Петрович, порядков не знаешь? Зачем ты свою бурену сюда припер? Я же через проулок от тебя — не мог вчера вечером забежать?" — "Так ты же мою старуху знаешь — всю душу извела: пусть, говорит, ее сам Николай смотрит и лекарства дает!" — "Я тебе, Петрович, прямо скажу, хоть и сватья она мне, а пизда немытая! Отвязывай свою недородившую, да гони домой!" — "Да не обижайся, Марья Васильевна, ты ведь на всю округу у нас одна, потому я с утра и здесь, а Николай, он что — только мужик, да директор, вот старуха моя и выкобенивается. Помогите ты, сделай милость, скотина-то не виноватая, что вы, бабы, между собой не ладите!" Увидя мою несколько ошарашенную физиономию, Марья Васильевна несколько, как мне показалось, смутилась, и, обращаясь ко мне, сказала извиняющимся тоном: "Видите, какая у нас тут публика, все норовят с подвохом, да задаром. Ну ладно, вычищу я твою бурену, раз привел!" — продолжа-

ла она, обращаясь к хозяину коровы. Что было потом! — ничего подобного я в моей жизни не видывал. Облаченная в длиннейший резиновый фартук, Марья Васильевна заголила свою полноватую и коротковатую руку почти до плеча и, дав мне тубу с белым вазелином, попросила смазать всю ее густым слоем. Бодро и почти профессионально я это выполнил. "Ну, держи ее теперь за нос, — приказала мне готовая к операции Марья Васильевна, — да не щипцами, а рукой, рукой ее меж ноздрей хватай!" Корове все эти мои манипуляции были явно не по душе, и она начала изворачиваться, норовя пырнуть меня своим довольно острым рогом. Тяжелая навозная жижа полилась прямо на высокие модные сапоги Марьи Васильевны. "А чтоб тебя вместе с хозяевами твоими комар заел!" — зачертыхалась и заматюкалась она, запуская обвазелиненную руку в коровью промежность. А далее я помню только удушливый запах навоза, тяжелого коровьего дыхания и спекшейся нечистой крови, ударившей вдруг из коровьей вагины. Затем торжествующая Марья Васильевна, внедренная по плечо в коровьи внутренности, извлекла нечто кожисто-черное и пахнущее зловонным гноем и бросила в высокое помойное ведро. "Ну вот, уводи свою бурену, да скажи Пашке, чтобы вымя вымыла теплой водой!" Освобожденная мною корова радостно и почти вприпрыжку протрусила по помосту на двор. Снимая фартук и моя руки в бочке с водой, Марья Васильевна не прекращала своих колоритных и пахучих сравнений, относящихся к сватье и всей честной фамилии. "Плати пять рублей — я сейчас тебе квитанцию выпишу!" — "Да что ты, Маша, никакой квитанции нам не надо!" — "Нет уж, я твою засранку с малолетства знаю! Жалобами потом всю контору закидает". — "Да ему (кивок в мою сторону) пятьдесят копеек — за то, что твою недородку удерживал!" Так я и получил свою первую неофициальную плату за носоудержание коров...

И потекли мои ветеринарные дни и ночи удивительно быстро и разнообразно-весело. Каждое утро из бревенчатого замасленного и пробензиненного гаража выкатывался, урча и кашляя, газик с брезентовыми стенками и крышей, мо-

лодой быстроглазый шофер начинал деятельно запаковывать радиатор, а тем временем появлялась рабочая сила в лице двух моих благодетельниц: Марии Васильевны и Нины Ивановны. Они да я, ночевавший первые дни в конторе на полу, начинали собирать склянки, банки, укладывать шприцы и сыворотки, вату и ножницы. Примерно через час после начала этой деятельности появлялось еще одно примечательное лицо — наш непосредственный начальник Николай Семенович. Был он худ и поражал меня своим бледно-синеватым лицом, изъеденным густой сетью морщин. Впервые увидев его и услышав невнятный шамкающий говор, я был уверен, что передо мной по крайней мере древнейший богучанец, но в разговоре выяснилось, что мы почти ровесники.

История обычная: прокатила Семеныча жизнь сквозь лагерно-социалистическую мясорубку, разметала в клочья его семью и выплюнула к пятидесяти годам в Богучаны в одиноко притулившийся дощатый домик из одной комнаты, что стоял неподалеку от ветеринарной станции. Все подходы и подъезды к домику были загромождены ящиками с пустыми бутылками из-под самых разнообразных горячительных напитков, начиная от "Красного столового" и кончая питьевым спиртом, но более всего было там зеленостекольной "Московской" с красным сургучным штемпелем на пробке. Так что жизнь Николая Семеныча была не фигурально, а буквально наполнена (но постоянно опорожняема). Самое удивительное, что я ни разу не видел Семеныча пьяным. Все его застолья и забутылья проистекали после работы в пресловутом домике, и компанию его составляли какие-то неизвестные пришлые дамы, исчезающие на рассвете.

Месяца через два, уже в конце моей ветеринарной карьеры, Семеныч не появился, как обычно, к нашему отъезду. Нина Ивановна, матерясь, побежала через разползшееся по весне месиво огородной земли к домику. Хлопнула дверь, и мы слышали истошный вопль. На пороге дома появилась Нина Ивановна и, беззвучно разевая рот, махала руками, призывая нас. Бутылки, бутылки, бутылки... Они стояли, лежали, катались под ногами, валялись на подоконнике и стульях,

заполняли полки. Воздух же был наполнен странным запахом подгоревшего мяса и спиртового пламени. На кровати, приткнутой к печке, лежал некий черно-угольный предмет, в котором с трудом можно было распознать человека. Только рука, свисавшая с койки, была удивительно бело-розовой и живой. Все остальное истлело, ушло голубым пламенем, которое все еще шевелилось и казалось живым существом, доедавшим свою жертву. Никогда не думал, что выражение "сгорел от пьянства" — вовсе не фигуральное, а истинное. Как все остальное в проспиритованном домике не занялось — не понимаю и по сию пору... Но это произошло через два месяца, а сейчас живой и совсем не хмельной Семеныч быстро и деятельно начинал суетиться и помогать. Был он вежлив и обходителен до крайности и удивительно застенчив. До сих пор горько-жалостно мне, что не довелось поговорить с ним по душам, а все почему? Непьющий я, и двери его домика были закрыты для меня наглухо...

Газик, управляемый нашим шустро-кудрявым шефом Мишей, медленно выползает на простор избитой колеями Коммунистической улицы, и начинается немилосердно тряская дорога в сибирскую глубинку, вдоль берегов спящей зимней Ангары. Раззадоренные дорогой, наши дамы начинают петь что-то заунывно-медоточивое ("И ушел он, и ушел он, подружки, в ту ночь..."). Деревья почти сходятся и закрывают узкую дорогу. Слышно, как тяжелые ветви скребут по крыше газика. Проходит примерно час этой борьбы с корнями и завалами, и машина въезжает в первую из наших деревень. Все те же приземистые добротные срубленные избы, высокие глухие заборы, начисто сведенный лес и чахлые деревца на "приусадебных участках".

Удивительны названия этих деревень — Кежда, Карабула, Иркенево, Беяки. Какой-то древний неиспытанный пласт русского языка застыл в них и едва выглядывает теперь сквозь газетно-канцелярские штампы советско-коммунистической тюрьмы. Мы, наскоро закусив, начинаем устраивать походный ветпункт. Вот и первые пациенты — лохматые грязноватые буренки и молоденькие розовоносые телуши и быч-

ки. Их хозяева, странно похожие и одинаково закутанные в платки и тулупы, безучастно смотрят на наши изуверские манипуляции. На мой тюремный ватник натянут бело-грязный халат, а в руках зажато пытательное орудие — нечто вроде щипцов с округлыми шарообразными наконечниками. Стараясь подавить внутреннюю дрожь, я "профессионально" хватаю корову за левый рог, а правой рукой, вооруженной этими щипцами, стараюсь ухватить ее за чувствительную носовую перегородку. Несчастная взбрыкивает, взмывает и старается пырнуть меня свободным рогом или по крайней мере отдавить ноги копытами. Но боль все-таки действует, и бурена застывает в шоке и ужасе. Тут одна из наших ветеринарных специалистов втыкает в коровий зад шприц, а тем временем Семеныч нащупывает яремную вену на коровьей шее и "пьет" с помощью огромного инжектора ее кровь. Последняя процедура вызывает у коровы особенно неприятные чувства, и я ощущаю это по сильным, почти непреодолимым движениям ее головы. Теперь главное — осторожно освободить мученицу и не получить заслуженный удар рогом или копытом. Хозяин или чаще хозяйка уводят животное, мои ветеринарные дамы собирают дань: пять рублей за прививку — пятьдесят копеек за удержание. И так продолжается весь день. В конце концов, уже в сумерках, мои руки отказываются держать щипцы, и я почти безучастно принимаю удары коровьих копыт — благо валенки толстые.

Эта деревня — исключение: более пятидесяти коров, а в большинстве — не более двух десятков. Семеныч объясняет: "Нынче коров невыгодно держать — пастбища дают далекие от деревни, налоги государству нужно платить, корм дорогой, а мясо осенью принимают по очень высоким ценам. Вот и "стимулируют" резать скот". Неудивительно, что в этой богатейшей провинции Сибири корова становится вымирающим животным. Позже я видел, как разнообразные начальники и не начальники снаряжают экспедиции из Богучан в Беяки или Иркенево за... сметаной или маслом. Потому как нет коров и иссякают молочные реки, и не было и не будет кисельных берегов в коммунистической России. На

большинстве деревень и поселков вблизи Богучан лежит грустная печать запустения и вымирания. Почти нет молодых лиц. Замшелые старики и старушки спуют от дома к дому. Многие избы стоят с заколоченными окнами и дверями. Только изредка видна активная жизнь — и то более всего она выражается в утробном урчании тракторов и бульдозеров, сводящих и без того редкий лес на берегах Ангары.

Мы возвращаемся в сине-фиолетовой полутьме. Шуршит шероховатый лед, и наш газик норовисто берет крутой подъем среди высоченных сугробов и наледий. Богучаны встречают нас редкими бело-желтыми огнями вдоль пустых заснеженных улиц с домами со слепыми черными окнами, с навешенными ставнями. Семеныч похрапывает на переднем сиденье, и только неутомимая Нина выводит протяжную "И ушел он, ушел он в ту ночь..."

Меня поселили к "хозявам", как здесь говорят. В один прекрасный день Мария Васильевна взялась отвести меня на новое местожительство. Небольшая по местным масштабам усадьба приютилась на богучанских задворках, всего в двух минутах ходьбы от ветстанции. Мы прошли через глухую, почерневшую калитку во двор, выложенный брусчатым тесом. Подпирая забор изнутри, высились штабеля аккуратно нарубленных дров. "Нюрка, Васька! — дома есть кто?" — вскричала Мария Васильевна и, получив какой-то невнятный ответ, мы отворили тяжелую обитую войлоком дверь и очутились в темноватых сенях. Задев огромную кадушку и уронив эмалированный ковшик, я вошел вслед за Марией Васильевной в переднюю и очутился перед полусидящей-полулежащей на высокой кровати старушкой. На широком покрытом клеенкой столе, притиснутом к окну, лежали, стояли, валялись всевозможные бутылочки и пакетики с лекарствами. Передняя была темноватой, но я разглядел нездоровую бледную кожу, запавшую беззубую челюсть, неподвижно висящую правую руку и блестящие неумным любопытством шустро бегавшие глазенки. "Вот постояльца тебе, Нюра, привела, как обещалась". Старушка помолчала и затем мягким

высоким голосом спросила: "Вы и вправду не пьющий?" Получив утвердительный ответ, она продолжала: "Мы ведь в деньгах не нуждаемся. Скажем, десятку я с тебя буду в месяц брать. Помочь нам теперь — во как нужна! Дров нарубить, печку истопить, баню наладить. А весна скорая уж — огородик вспахать, да засеять". — "Дак они с образованием, может, твою болезнь полечут", — проговорила вдруг Мария Васильевна. Я стал что-то бормотать о различии между биологическим и медицинским образованием. "А доктора — они еще меньше того смыслят! Вчерась одна докторша прикатила. Вся из себя грудастая и важная, да начала меня шупать, да выстукивать. Внимание вроде оказала, а, гляжу, стала трубочкой меня выслушивать, а эти ушные резинки-то даже и не вставила в уши, а на шею себе повесила. Думает, мы безграмотные, не пойдем. Дак я ее, бесстыжую, выгнала. И чего приходила — только в волнение меня привела. Я опосля этого весь вечер валокордин принимала!" Тихо стукнула дверь. "Вот и хозяин пришел!" — прощбетала старушка. Хозяин оказался кряжистым низкорослым мужичком, густо пропахшим махоркой. Даже в полутемной комнате меня поразил цвет его лица — оно было интенсивно красным с какой-то натужной синевой. "Идем, я тебе твою комнатушку определю, — сказал он низким сиплым голосом. — А потом — баню топить будем". Мария Васильевна тихо исчезла, а я пошел вслед за Василием Семеновичем через кухню в мою будущую комнату. Она оказалась узкой, однооконной каморкой с кроватью, маленьким круглым столиком и — на удивление — холодильником "ЗИС". Двери в каморке не было. Только пестрая ситцевая занавеска отделяла комнатушку от кухни. Под окном вилась змея дощатого тротуара, а далее расстилалась широченная, избитая заснеженными колеями улица.

Не прошло и получаса, как мы — Василий Семенович и я (как я узнал потом, местные деревенские зубоскалы прозвали его Вася-красный) — мылили друг другу спины в тесной и жарко натопленной бане, приютившейся на самом краю довольно обширного огорода.

Баня... Это целая эпопея — натаскать воду из соседнего колодца (примерно ведер двадцать, на неудобном и шатком коромысле), нарубить дров — огромные сосновые чурбаки лежали заготовленные с лета в главном, уличном, дворе дома. И, наконец, растопить дымную печку (вернее, две сразу: одну в мыльне, а другую в прихожей). Шипит, вскипая, вода на раскаленных докрасна камнях, и едкий пар выскребает мою дорожно-тюремную грязь. Потом мы сидим голышом в прихожей и глотаем горячий, настоявшийся чай. Семеныч осторожно, но настойчиво расспрашивает меня о Москве, о тюрьме-лагере, и я стараюсь быть в меру правдивым, но до предела кратким.

Сам же он был тихо молчалив и загадочен. Хозяйкой дома всегда была и даже теперь, когда ее "разбил паралич", оставалась жена — Нюрка. То есть я ее, конечно, величал Анной Васильевной. Смутно припоминая что-то из курса неврологии, я вспомнил, что иногда таким больным помогает рано начатый курс физических упражнений и массаж. Нелегкая дернула меня сказать об этом бабе Нюре. И началось... Каждый день я должен был, натерев руки вазелином, массировать и разминать ее белую, тестообразную руку, безжизненно лежавшую поверх одеяла, сгибать и разгибать тонкие неподвижные пальцы и говорить, и отвечать, и утешать... "И за что это меня, Господи, — кряхтела моя подопечная. — Всю жизнь работала, надрывалась, точно лошадь в упряге..." На стене, в главной комнате (салоне, как в Богучанах любили высокопарно называть такие комнаты) среди фотографий многочисленных напряженно застывших родственников и знакомых висел в овальной тяжелой раме огромный портрет симпатичного смышленного на вид молодого человека. "Сынок, сынок, — завздыхала и запричитала хозяйка. — Утонул он прошлой весной... Как сказали мне, так я и замертво пала. Очнулась — и сказать ничего не могу. Душа — криком кричит, а язык точно тряпка. Ни слез, ничего..."

Я смотрел и слушал ее жалобы, а Василий Семеныч шаркал между тем тяжелыми унтами и скрипел половицами. Оба они напоминали мне последние, еще не успокоившиеся щепки,

прибитые половодьем после страшной бури, осевшие на мелкой воде и начинающие загнивать на весеннем солнце. И думалось мне о неведомых силах, что скручивают и дробят человечьи судьбы, невзирая на все принятые клише и набившие оскомину стандарты. Казалось, не было причин для столь страшного физического разрушения этих двух еще не старых людей, проживших всю свою жизнь вдали от "проклятого" города, вдали от всех соблазнов и ересей современного мира, запрятанных в сибирской, полной самого чистого воздуха тайге, пивших всю жизнь естественную, не водопроводную воду. Не пробовавших консервов, соков, витаминов, гормонов, — людей, для которых основой жизни был хлеб, парное молоко, рыба, только что вытщенная из сетей. Не ведавших ничего о загрязнении среды, канцерогенах, "ужасающем" темпе жизни и прочих жупелах современных марксов и дарвиновых.

И вот я гляжу на скрюченные пальцы, изборожденное морщинами лицо, горбатую спину, запавший рот, шаркающие ступни пятидесятилетних людей, точно выдолбленных из темного потрескавшегося дерева... Прошли долгие месяцы, пока я начал смутно догадываться о причинах этой катастрофы. Давно, еще перед второй мировой (Великой отечественной, как любят называть ее советские историки) повстречались и полюбили у предвечерней Ангары молодые, зеленые Нюрка и Васька, жившие сызмала по соседству. Не прошло и двух месяцев, как вся родня из Богучан, Карабулы, Кежмы и Иркенева гуляла на разудалой, пропахшей рыбой и водкой свадьбе. А еще через месяц и десять дней трясся Василий в солдатской теплушке, уносившей его от молодой жены на запад, на фронт. Побывал он во всяких мясорубках, был дважды ранен, дошел, прошел, победил, освободил Европу и вернулся в Богучаны. Нюрка меж тем вкалывала в колхозе, сажала, вскапывала, доила, убирала урожаи, лаялась с председателями из-за трудодней и ждала изголодавшимся телом и еще не огрубевшей душой своего Василия. И надо же было, чтобы перед самым его возвращением подвернулся Нюрке на вечеринке солдатик-инвалид из Енисейс-

ка. Выпито было немало за победу да за возвращение. И развезло Нюрку до бесстыдства. Сама затащила парня в коровник, содрала с него, пьяного, портки и приняла его в свое иссохшее от желания за четыре года лоно.

Вернувшись, Василий обнаружил располневшую, раздавленную Нюрку, ожидавшую грозных последствий своей "слабости". И без того молчаливый Василий замкнулся, стал сторониться людей и только пьяный невнятно материл ее и грозился смутно. Месяца за два до родов Василий исчез из села, отговорившись хорошей охотой на соболя. А когда вернулся метельной январской ночью, сказал испуганной Нюрке: "Там в сенах для тебя гостинец в мешке". Нюрка, сторонясь его большим животом, вышла в переднюю и открыла запорошенный снегом, заскорузлый мешок — из него выпала обледеневшая голова енисейского солдата, застывшего в изумленном крике. Очнулась Нюрка в местной больничке и обнаружила, что живот ее опал. Улыбавшаяся фельдшерша, дальняя родня по матери, сказала: "Парня ты, Нюрка, принесла. Два кило двести. Ты не бойся. Немножко кривоватый он у тебя. Да вырастет, может, выправится". Нет, не выправился Мишка. Так и остался на всю жизнь с горбом. А Василия арестовали в тот же день, и он не увидел своего побочного сына. Встретились они только через пять лет. Коротко по-тюремному стриженный, постаревший Васька спросил испуганно-возбужденную Нюрку: "Примешь?" И она ответила почти тотчас: "Приму!" Так и остался он в селе, и был прозван Красным — то ли за бурачно-красные щеки, то ли за кровь на заскорузлом мешке.

Горбатый Мишка выучился в Красноярске на механика, приехал в Богучаны и начал обычную богучанскую колобродь. Врожденное его увечье вызывало любопытство и, как это ни смешно, зависть, так как Мишка слыл первым ухажером, и слава о его природных данных летела впереди его моторки, болтавшейся по Ангаре от деревни к деревне, где он надзирал за скудным механическим и электрическим хозяйством разваливающихся коровников и курятников. Так что к двадцати пяти годам Мишка был вполне потасканным

мужиком и записным алкоголиком. Со своим "побочным" отцом он не ладил, и сходились они только на одном — водке. Заработки у обоих были неплохие, Нюрка действительно вкалывала как лошадь, держала дом, огород, двух коров, немного и в колхозе прихватывала. И часто соседи могли слышать развеселые звуки гармошки, несшиеся из Нюркиных окон. "Опять загуляли", — говорили кругом с завистью.

Так и катилась их жизнь до того дня, когда Мишка, пьяный до мертвенной бледности, задумал под вечер ехать на другую сторону в известный своим блядством лесхоз. Нюрка, хоть и сама была веселой, отговаривала его. "Ну куда тебя, пьянь и срань, несет?! Вон вода как поднялась, — видно, плотину открыли". Но уговоры были ленивыми, а Мишка пьяный — известный упрямец. Словом, нашли его тело через два дня, раздутое, синеватое, а обломки лодки обнаружили на камнях на мелководье.

Вот после этого и стала разваливаться Нюркина и Васькина жизнь. Словно когтистой лапой время содрало с них молодую кожу и отворило дверь старости и болезням.

Нет, дорогие мои утописты-социалисты-материалисты, не загрязнение среды и ускорение темпов жизни губит нас, а загрязнение души, и оно никак не измеряется экономикой, прогрессом, регрессом, технологией, капитализмом, коммунизмом и прочими и прочими наукообразными фетишами...

Я и не заметил за всеми моими делами, коровами, дровами, печками и путешествиями на почту, как подобрался апрель. Мои денежно-экономические трудности были вполне забыты: московские, израильские и американские друзья завалили местную почту неисчислимыми посылками. Было любопытно наблюдать, как росло уважение моих хозяев с каждой новой посылкой. По-видимому, в самом начале нашего невольного (с моей стороны) контакта я был в их глазах одним из многих выбитых из жизни людей, "бичем" (замаскированным, конечно), будущее которого темно и непонятно, а прошлое — кто его знает: "Говорит, что политический, а вполне возможно и душегубец!" Но вот посылки и письма на непонятных языках были чем-то необычным, го-

ворили о загадочных связях их жильца-прислуги. Словом, из бичей я попал в истеблишмент, хотя и находящийся в немилости у властей предрежащих. Но для бабы Нюры именно мои антисоветские приключения составляли основной предмет любопытства.

Сама она "енту власть" терпеть не могла и красочно описывала непрестанную борьбу с голодухой в колхозе. "И ведь в передовиках ходила, титьки у коровы до крови выжимала, чтобы надои эти треклятые увеличивать. А как их увеличишь, если корове жрать зимой нехрена?! И воровала, конечно, всю жизнь воровала, что могла, в этом колхозе, чтоб он сгорел! А если бы не воровство — сгинули бы мы с Васькой и Мишкой с голоду! Только как этот усатый подох, жизнь полегчала немного. Но все одно — все эти, что наверху — кровососы, даром что ли их флаги от крови красные! Сколь людей невинных загубили! Хоть они себя в своих газетах в святые возвели, а черного кобеля не отмоешь до бела. И посмотри ты на их — старики ведь глубокие, этот Брежнев еле губами шевелит, второй-то — длинный, очкастый — от злости до костей высох (это она о покойнике Сулове так изъяснялась), а все за власть, за душегубство держутся. Я вот не знаю, есть ли Бог, а вот в ад я верю. Думаю, что все они свои жопы там поджарят на большой сковороде!"

Суматошно прокатились два мои первых месяца в Богу-чанах. И однажды апрельским утром, сидя на завалинке ветстанции, я заметил два голубых оконца, пробуравленных в густо-серых облаках. Весна... Ее запах — дурманивший и беспокойный — напомнил мне, что помимо души и разума у меня есть еще и тело с его неумными желаниями и стремлениями... Ночью, приоткрыв набухшую от влаги форточку, я слушал истошные кошачьи вопли и думал о странной дисгармонии человеческой натуры. Судьба всего остального мира предопределена и понятна: есть, пить, чтобы жить, жить, чтобы продолжать жизнь в будущих поколениях, изменяться вслед за изменениями текущей Природы, вымирать и уступать дорогу более живучим и изворотливым в борьбе... Не знаю, как это

точно количественно, но, наверное, более девяноста процентов своего существования животные и растения тратят на удовлетворение самого необходимого: еду, питье, защиту и только раз в году, а то и раз за всю свою жизнь они испытывают желание соединиться с подобно-противоположным и породить себе подобное. Мы же — придатки нашего не в меру большого и хитроумного мозга — с ранних лет, вооруженные лишь зачатками будущих половых органов, становимся сексонаркоманами, аддиктами наших половых фантазий и стремлений. И не помогают тут ни квакерские попытки подавить и осудить раннее начало и постоянное половое влечение, ни культивируемое невежество и викторианское закрывание глаз. Не знаю, кто и когда, но кто-то очень мудрый придумал семью — клапан и плотину, защищающую нас от половых торнадо и штормов. Однако, глядя на современную семью, я все больше сомневаюсь, что ее слабые социальные путы смогут устоять перед биологическим натиском половой наркомании...

Очень модно все сваливать на "развращающее" влияние среды, но какая тут, к черту, среда, когда я впервые почувствовал сексуальное влечение в пять лет? И сейчас я помню ни с чем не сравнимое наслаждение от первого мучительного сокращения всех мышц, охваченных бурей оргазма. И с тех пор шелковистая шерсть и гладкая кожа, запах потного тела, припухлость подушек и морщинистость простынь — лишь стимулы, вызывающие желание обладать и наслаждаться обладанием.

Великая насмешница-Природа, а может, и природный шутник Бог замесили глину нашего тела на половых гормонах. Наш Создатель промыл нам мозги этими самыми гормонами еще в ранней юности, в утробе матери, на стадии двух-трехмесячного зародыша, и тем самым определил, кто будет мужчиной, а кто женщиной, кто будет насиловать и наслаждаться пытками, а кто наслаждаться, испытывая боль и унижения, кто будет (о, ужас!) любить себе подобных, а кто не устанет преследовать противоположный пол до глубокой старости. Но самая великая Его (или ее) шутка состояла в том, что, создав бесчисленные варианты и возможности для полового

поведения, Он разрешил только одну модель: гетеросексуальную и в большинстве религий — моногамную, объявив все остальные его же проекты — греховными. И вот я гляжу и поражаюсь сходству в тупоумии и неприятии всего мира нашего сексуального разнообразия: от "передовых" интеллектуалов до мракобесов от Ислама, Иудаизма и Христианства, от лево-левых радикалов до право-правых фашистов и головорезов, от гулаговской сталинской конституции и уголовного кодекса СССР до комиссий Конгресса США, агентов ФБР и Иммиграционных учреждений Америки — все благословляют только одну возможную модель сексуального мира. Но в том-то и штука, что все они бессильны перед шутницей Природой. Можно истребить миллионы гомосексуалистов (Гитлер и Сталин, турки в 1915 году и Иди Амин в 1976 году доказали, что истребление больших масс людей — дело технически простое), можно запретить порнографию и проституцию, можно превратить частную жизнь людей в ад расследований и шантажа (КГБ и ФБР — большие мастера этого дела)... Но и в будущих поколениях Природа будет все так же настойчиво воспроизводить все многообразие сексуального поведения и все ту же человеческую неистребимость и влечение, определяемое одним словом: Наслаждение.

...Кошки все пели и пели свои любовные песни, оранжево-розовая луна выплыла из-за иссиня-черных сопок, и тихий сон наконец подкрался и выключил мое сознание.

Весна в Богучанах продолжалась всего два-три дня. Еще вчера дул над Ангарой порывистый вьюжный ветер, крутился снег, а сегодня кто-то огромной рукой соскоблил серо-свинцовые облака и выкрасил небо в фантастические сине-зеленые перья. Забулькали грязно-желтые ручьи, с шумными вздохами и шорохами стали оседать серо-снежные сугробы, и у обочины широченного грязевого потока, который еще вчера был заснеженной улицей, появилась группка странных существ: покрытые густыми бледно-желтыми волосиками, они робко развернули свои бело-зеленые лепестки и оказались подснежниками. Удивительно, даже цветы в Сибири одеты в звериную шкуру...

Неожиданно я оказался в центре местно-ветеринарных интриг и происков враждующих партий. В таком маленьком и отрезанном большую часть года от остального мира месте, как Богучаны, каждое, даже самое паршивое рабочее место — предмет жестокой конкуренции. Оказывается, работать на ветстанции хотели многие богучанцы и богучанки. Но мощный союз двух дам — Нины и Маши (Марии Васильевны) не давал никому никаких шансов. Тут появился я, и обе дамы решили, что я — существо неконкурентоспособное — политссылный, без корней, без друзей. Именно поэтому они столь быстро настояли на моем приобщении к носодержанию коров и быков. Что ж, два месяца я честно тянул коров за их носовые перегородки. И мой непосредственный начальник Николай Семеныч (тот, что сгорел позже в парах зеленого змия) нахвалиться мной не мог и как-то в присутствии обеих дам предложил мне наладить нечто вроде лаборатории для экспресс-анализа крови. Сказано — сделано. Я получил все необходимые справки от моих московских друзей, составил лист оборудования и химикалий и спокойно стал ждать, не подозревая, что дни мои на ветстанции сочтены.

Как-то я пришел на работу пораньше и начал приводить в порядок запущенное лабораторное хозяйство, бывшее в ведении не то Нины, не то Марии Васильевны. Перебирая и перетирая пробирки и стекла, я услышал, как стукнула входная дверь, а затем послышались звуки крутящегося телефонного диска. И я услышал любопытную беседу. Точнее, одну сторону диалога, но реконструировать ответы невидимого собеседника было очень легко. Твердый голос Марии Васильевны спросил какого-то Бессонова. И затем, по-семейному помячав, спросил о здоровье какой-то Анюты. Я, стараясь не обращать внимания на беседу, продолжал звенеть посудой, но Мария Васильевна, видимо, не слышала моей суеты и возни. Потому что в следующий момент я услышал мою фамилию: "Ну да, ссылный, техником у нас. Ты Петьке передай, что Семеныч ему лабораторию тут собирается открыть. Понимаешь?! Жидок этот тихоня, тихоня, а лезет... Так ты или Петьке, или самому Захарову передай... Я вчера у Петьки кабана

поклала (кастрировала), да забыла сказать. Да он такой важный стал, как его из лесхоза в КГБ определили. А кто не выпивает нынче?.. Так ты ему передай — чтоб он этого жидка отсюда убрал...”

Так я понял, что судьба не сулила мне дальнейшего носоудержания и анализов крови. Мария Васильевна, видимо, вышла на крыльцо, а я поспешил покинуть свое убежище и, чтобы избежать неприятной и постыдной ситуации, прошел через другую внутреннюю дверь в виварий. Призыв Марии Васильевны был, видимо, с радостью принят в местном КГБ. Как же — осведомитель работает, местное ветеринарное начальство нарушило инструкции: держать политссыльного только на тяжелой физической работе. При местном богучанском безделье для комитетчиков, занимавших домик с двух окошечками неподалеку от почты, — это был бесценный подарок: как же, можно “меры принять”, рапорт подать, что, мол, бдим и не пушаем, как начальство велело.

Мария Васильевна встретила меня радушной улыбкой: “Как там мои старики — не обижают вас?” — “Что вы, — столь же приветливо отвечивал я, — меня теперь даже КГБ обидеть не может”. Лицо Марии Васильевны несколько вытянулось. “Как это?” — невольно вылетело из глубины ее души. “Ну, а что они могут мне сделать: ну, с работы выгонят — я другую найду, в тюрьму посадят за что-нибудь — я и там выживу. Мне ведь только одного надо: за кордон выбраться, не принадлежу я тут никому...” — “А-а-а”, — облегченно протянула она.

Дня через два меня вызвал смущенный директор станции. “Понимаешь, намутили бабы эти про тебя что-то. Запрещено мне тебя держать тут. Ты извини меня, пожалуйста. Для дела ты нужный человек. И мне было бы спокойней, если бы ты тут анализы наладил. Да кто тут о деле болеет? Все своих родственничков пристраивают или доносы начальству посылают”. Словом, я был уволен за отсутствием ставки (то бишь рабочего места). Ну что ж, не впервой мне терять работу в “самой свободной и демократической”!..

И снова столкнула меня судьба с медициной. Пошатавшись по Богучанам, я в конце концов очутился перед тем же заплыванным крыльцом местной амбулатории. Главврач — тот же смущенный переселенец из литовцев Буткус встретил меня стандартным "А-а-а, а я вас по всему селу разыскивал — ставка у меня была дезинфектора. А теперь и ее нет. Приходите месяца через два, может, что-нибудь определится" — "А может, у вас какое-нибудь местечко попроще и сейчас имеется?" — спросил я, зная, что для гаража больнице необходим ночной сторож. Буткус поежился и с несомненным раздражением сказал: "Есть-то есть, да как я возьму на работу в ночные сторожа — кандидата наук?!" — "Да так и возьмете и никакой катастрофы не произойдет", — откликнулся я. "Ну что ж, не возражаю. Сторож мне срочно необходим: у нас там в прошлый четверг две машины прямо в гараже ограбили — все сняли, даже мотор увезли".

В тот же вечер я погрузил в большой, купленный в местном универмаге портфель все мои начатые письма и книжки и отправился сторожить социалистическую собственность. Больница оказалась на самой окраине Богучан, так что мне приходилось теперь топать три километра по хлюпающим доскам и раскисшей весенней земле. Приходил я на работу в сумерки, минуя мрачные казематные бараки больницы. И кто придумал эту тюремную архитектуру? Т-образными зигзагами протянулись эти приземистые бревенчатые здания, разделенные поломанными палисадниками и чахлыми деревцами, а внутри — выбеленные сине-белой известкой стены бесконечных коридоров и квадратных палат, уставленных железными койками. Мой охраняемый объект — большой дощатый сарай с огромными воротами. В эти ворота не только грузовик, но и современный авиалайнер спокойно прошел бы. И таких ворот было восемь. Излишне говорить, что все они открывались и закрывались вручную и запирались на огромные деревянные балки-засовы и пудовые висячие замки. После девяти на мой охраняемый объект опускалась одинокая тишина. Только сверчки монотонно что-то бормотали, да капала вода из рукомойника. Дежурка моя

была чем-то вроде комнаты отдыха для ночных шоферов или транзитников, перевозивших больных из одной районной больницы в другую. В конце этой грязной, несмотря на все мои усилия, комнатухи стоял продавленный и промасленный диван, служивший местом отдохновения для ночных посетителей. Все они без исключения приезжали под сильным алкогольным газом и после обычной возни и попытки что-то рассказать заплетающимся языком заваливались на этот диван. После этого дежурка превращалась в большую колбу, наполненную противным запахом спирта, бензина и человеческих оглушительных запахов. Волей-неволей мне приходилось выкатываться из дежурки на свежий ночной воздух и обходить дозором мирно спящие больничные бараки, дощатые склады с хилыми подгнившими воротами... С языкастой матершинной шоферней я довольно быстро подружился, хотя и оставался для них существом странным и непонятным: не пьет и даже не "выпиват", и не старый вроде...

Особенно колоритной фигурой среди моих новых знакомцев был Абрам, то есть настоящее его имя было Николай, но прозвище-то было с еврейским акцентом, так как фамилия его была Абрамов, а физиономия — самая цыганская, с широченной белозубой улыбкой, оливковой обветренной кожей, густейшими черными бровями и задорно-молодой ямкой на правой щеке. Все речи и рассказы Николая вертелись или около нижних частей женского тела, или самых верхних этажей советской власти, то бишь частных частей тела Брежнева, Косыгина и прочих политбюровских старцев. Вскоре я мог без ошибки определять, пьяный Николай или трезвый: если речь шла о различных методах совокупления — значит, еще не выпивал сегодня, а если, ввалившись в дежурку, начинал очередной анекдот со слов: "А на правом яйце Брежнева..." я мог со стопроцентной уверенностью сказать, что по крайней мере одна поллитра уже опустошена...

Был он замечательным механиком и слесарем и иногда пел удивительно мелодичные протяжные песни с грустными похоронными словами. Тут уж можно было поклясться,

что Абрам перебрал, то есть обычная литровая норма выпивки превзойдена раза в три-четыре.

Появлялся Абрам в гараже в сопровождении своего столь же чернявого и добродушного пса Мишки. Пес быстро привязался ко мне и не желал уходить домой, оставаясь сторожить до самого утра, что являлось постоянным предметом абрамовских шуток и притворно грозных, пьяных окриков: "У-у-у — проститутка ты, Мишка, кормлю, пою тебя, а ты все к чужакам льнешь!" Пес виновато заваливался на спину и тихо визжал, по-щенячьи болтая лапами. А его хозяин хватал его на руки и начинал целовать в мокрый черный нос.

Долгое время я был уверен, что Абрам-Николай — холостяк, настолько безалаберными были его речи и привычки. Зачастую он появлялся где-нибудь в развале ночи с двумя, а то и с тремя подвыпившими друзьями или с не менее обалколенной дамой. Повертевшись минут двадцать в гараже, вся компания исчезала, оставляя меня в недоумении: зачем приходили? Только потом, познакомившись с психологией богучанцев, я понял, что эти визиты-налеты были попыткой избавиться от монотонно-одинаковой рутины жизни, от тех же самых улиц и домов, от лиц, от всего тысячи раз виденного и прочувствованного с самого детства. В гараже сидел я — лицо новое, незнакомое и, по слухам, опасное. Вот и появлялись местные фланеры и фланерши пощекотать нервы после обильной выпивки. Тем более я был удивлен, встретив Абрама на огромном заболоченном лугу на окраине деревни. Он был занят самым домашним богучанским делом: пас рыжую толстую корову и телят. И тут я узнал, что Абрам не только женат, но и представитель весьма разветвленной фамилии: шестеро детей, дедушки и бабушки с обеих сторон и по крайней мере три-четыре сестры и два брата. И детишки, как оказалось, мал-мала меньше. Вот и приходилось Абраму пасти корову на лугу: иного источника молока в Богучанах не было. Хочешь заводить ребенка — покупай корову.

Почему я вспоминаю об Абраме-Николае, почему он снится мне и сейчас в другой стране, в заморских моих скитаниях?

Июнь — грустный месяц, месяц моего рождения. Не знаю уж как, но сорвались с моего длинного языка эти слова, и Абрам их услышал. В ночь моего дня рождения Абрам появился, как всегда, веселый и пьяный. Рассказав старый анекдот о расширении богатырской груди Брежнева с помощью пластической хирургии для очередных орденов и медалей, Абрам вытащил из кармана засаленного пиджака нечто живое, беспомощное и пищашее. "С днем рождения тебя..." На моей ладони свернулся живой теплый комочек-щенок, не более трех недель, с только что открывшимися серо-голубыми глазами. "Запрещенный прием", — сказал я, стараясь потушить преступное свербение в носу. "Брось, брось, — ответил Абрам. — Ты ведь живой, теплый, вот и будешь согревать его и сам от тепла его жив будешь".

Так Абрам кинул в мою одинокую жизнь существо, требующее внимания и тепла. И, может быть, этим спас меня от ледяной тоски одиночества. Я назвал его Нааром, что на иврите означает — мальчик, подросток. Глупый, пушистый, он превратил мою комнатуху в пропахший нечистотами собачий сортир. Каждый день мне приходилось теперь таскать его на дежурства, так как в мое отсутствие он поднимал невыносимый вой и крик, и хозяева мои — Нюра и Вася — наотрез отказались с ним нянчиться. Ах, мой милый недотепа Наар! Жив ли ты? Зачем я тащил тебя через весь мир, чтобы предательски бросить среди чужих холодных людей?

Месяца через два, уже работая на кирпичном заводе, я узнал, что Абрам был убит. Умер под сапогами, пьяный, кланущий Советы и коммунистов, Брежнева и милиционеров, тупо избивавших его всю ночь в вытрезвителе. Дело, конечно, замяли, так как Абрам был из семьи репрессированных, то ли кулаков, то ли иных "врагов народа", а милиция, хоть и была в подпитии, но "оне же косомольцы, а этот бич советскую власть по матушке обзывал". Семья Абрама тихо исчезла из Богучан. И только желтые глаза Наара остались мне, как живой памятник убиенному и пропавшему в мутной пучине советской жизни.

Я уже привык к моему гаражу, к комнатухе с полом, скользким от грязи и машинного масла. Мои дни превратились в ночи, а ночи в дни. Днем я отсыпался, а к вечеру, словно сова, стряхивал дрему, собирал свои немудреные пожитки и отправлялся на дежурство в гараж. В моем огромном портфеле на ворохе заграничных писем возлежал и блаженно улыбался во сне Наар. И это было прекрасно: тишина, отсутствие людской суеты, — и время: я чувствовал, как оно течет и убывает, как оно тащит меня на своей спине, сквозь черный туннель к слабому далекому просвету... На столе возился и оставлял иногда маленькие лужицы Наар, а я вчитывался в смысл слов, прибывших из невероятной дали. Каждое письмо — словно приключение, игра с неведомым и неизвестным. В маленьком не утратившем тонкого запаха каких-то духов конверте пришло письмо из Англии. Женщина или девушка со странным именем Хилари вошла в мою комнатуху и стала спокойно рассказывать о себе, о загадочном Лондоне, о двадцати тысячах сионисток, обсуждающих судьбы советских евреев на специальных филантропических чаепитиях. Она тихо рассказывала о себе, о кратком любовном приключении в киббуце, о будущей свадьбе с неким Джефри. И в мою комнатуху вливался иной непонятный мир — с чаепитиями, демонстрациями, бриджем, сплетнями и человеческой доверчивой теплотой, не отравленной страхом секретной слежки, доносами и прочими кегебистскими прелестями "самой свободной и прогрессивной" страны.

Какая-то английская дама спрашивала меня — играю ли я в бридж и кто (в Сибири! в ссылке! в Гулаге!) составляет мне компанию в этой "удивительно освежающей и спасающей от скуки" игре. "Любите ли вы Брамса?" "Играете ли вы в бридж?" Какая маленькая планета Земля! И только одно отнесенительно разумное существо населяет ее. И какое это существо разное и разнообразное! И как мало оно понимает жизнь себе подобных! И все же, и все же... Двадцать тысяч дам, отделенных от меня временем и расстоянием, бриджем и чаепитиями, свободой и чужеземными канонами, думают и заботятся обо мне — человеку столь же непонятном и незна-

комом, как и они для меня. И это прекрасно, и это — Надежда. Ибо вопреки проклятой коммунистической морали, разделяющей и отдаляющей людей классами, сектами, берлинскими стенами и советскими "железными" границами, естественное состояние человека — познавать и узнавать мир и особенно мир себе подобных. И никакая церковь, в том числе коммунистическая, не спасется от взаимопроникновения знаний и идей, чувств и привычек. Ибо Мир и Бог не терпят границ.

Долгожданное письмо от З. Приятно открывать ее письма — толстые, написанные таким милым остроконечным почерком, насыщенные той, моей бывшей университетско-московской жизнью, где привязанность и нежность прячутся и окутываются сарказмом, где острота и четкость мысли подчеркиваются жаргонными словечками и оборотами речи, где понимание возникает без нудных объяснений и разъяснений, но через ассоциации и иногда через иронию и мягкую насмешку. Ага, это здорово! Через неделю она прилетит в Богучаны! Это же почти сказка! Наши отношения, сложные и странные, начались давным-давно. Лет двадцать назад. Была такая комната на нашем факультете, на кафедре ...логии, комната, пропахшая запахом эвкалиптового масла и парафина, со столами, загроможденными микроскопами и круглыми аквариумами, где плавали жирные головастики или копошились тритоны и саламандры. Профессор (и весьма хороший лектор) был официальным директором этой маленькой лаборатории, но в действительности все дела в ней вершились двумя его учениками — моей теперешней корреспонденткой З. и моим не менее близким другом А. Я обожал эту комнату, обожал эту постоянную атмосферу дружеской вражды и враждебной дружбы, где темпераментно обсуждалось все: начиная от политики и кончая вчерашним экспериментом. Где ортодоксальное православие схлестывалось с не менее ортодоксальным иудаизмом. И эти схватки подогревались новообращенностью в Веру обоих участников, их глубокой заинтересованностью во мнении друг друга, их честностью и светящейся чистотой.

Я тоже был частью этого мирка, но частью периферической, пришлой или, вернее сказать, прыгучей. Особенно для всегда одетой в черное З. я казался (а отчасти и был) неким младым франтом от науки, поверхностным, неприятно блестящим предметом, который вечно встревает в разговор, да еще выдает время от времени пошлые парадоксы и святотатства. Есть хорошее русское слово: "отбрить". Вот этой способностью З. обладала в полной мере. Она могла отбрить, не взирая на лица, и иногда даже не словом, а брошенным взглядом или невероятно саркастической усмешкой. Словом, З. едва терпела меня, да и то только из уважения к А. И тем не менее я любил беседовать с ней и иногда на самые мои интимные темы. Это был какой-то мазохизм. Я ведь отлично понимал, что она меня недолюбливает и даже, в глубине души, чуточку презирает, хоть и относится с особой добротой, добротой, впитанной с детства и переданной через поколения умных и мыслящих людей. Выражение глаз и складки у рта З. были таковы, что человек, беседующий с ней, невольно и неожиданно для себя начинал говорить правдивые вещи. Да-да, теперь я понимаю, ее личность, ее духовная сила предрасполагали к исповеди, к самовыражению, а кому на свете я мог исповедаться тогда? Но для самой З. я представлял, можно сказать, научный (зоологический) интерес: еще одна разновидность Гомо советикус.

Вот почему для меня совершенной неожиданностью была ее реакция на мой арест, суд, лагерь и ссылку. В первые дни, когда только самые близкие друзья, вернее только А., кинулись на помощь, З. неожиданно появилась в доме мамы и стала с тех пор частью маминой — и через письма — моей жизни. Я уже рассказывал об этих письмах, бывших моей опорой и утешением в лагере. И вот теперь З. сама приезжает. Не верьте, не верьте досужим сплетникам! Между мужчиной и женщиной может существовать глубокая духовная связь и дружеская близость без всякого намека на физическое влечение. В нашем случае разнополость придавала этим отношениям своеобразную остроту, проводя тонкую невидимую границу, которую было запрещено переходить. Я все

время чувствовал, что, несмотря на близость, мы словно на краю провала. Стоит рукам коснуться друг друга — и тело начинает скользить под откос.

К моему большому удовольствию, "хозяева" укатали, улетели в Красноярск к родственникам, и мы были с З. одни в большом, полном скрипов и шорохов доме. Ах, какая приятная возможность для клише: он — ссыльный после лагеря, изнывающий от половой голодухи, она — самоотверженная, бросает своего мужа (хронически больного!) и по стопам княгини Трубецкой разделяет судьбу героя, благо сцена почти та же: Сибирь-матушка. Однако жизнь гораздо сложнее и лучше избитых клише.

Что же в действительности было? Был весенний ветер над темно-серой Ангарой. Стога льда, выброшенные бурной водой и оставленные среди зеленеющей травы, запотевшие от низких облаков черные скалы — и мы, тихо бредущие под пустынным фиолетовым небом. Уютно чавкала грязь под нашими резиновыми сапогами и пружинили доски подгнившего тротуара. Мы обжигались, снимая тонкую шелуху картошки в мундире, пили крепкий "купеческий чай" и слушали беспокойное попискивание Наара, возившегося у наших ног в кухне, наполненной запахом березовых углей... И говорили, и рассказывали, и думали вслух, и мечтали... Что может быть лучше и чище этого? Когда влечение здесь, пульсирует и пробивается, но не выливается наружу грубой и уродливой материальностью, а подстилает мысли и заставляет слезы навертываться на глаза. О чем же нам мечталось?

Как всегда, как у всех и во все времена — о воздушных замках... З. была на пороге опасного прыжка в неизведанное. Она оставляла свою тихую, уютную лабораторию в университете, своих головастиков и тритонов, свое респектабельное и прочное положение, чтобы пуститься в неизведанный мир Веры и ее служителей. Проще говоря, начинала она работать в редакции единственного в стране религиозного журнала. Я смотрел на нее со страхом и уважением. Опасно приближаться к тому, что долгие годы было мечтой. Это как рассматривать красивую актрису в полевой бинокль. Из-под грима

безобразными росчерками лезут морщины, безжизненно повисают локоны парика и блестят капли пота. Издали оно как-то лучше: древние слова, славянская мягкая вязь, темно-золотые оклады Троицы, торжественно белые или строго-черные рясы иереев, небесная музыка церковных гласов. Страшно приблизиться к прекрасному лицу и увидеть восковую нашлепку вместо носа. Страшно услышать во мраке прекрасный наполненный духовностью голос, поверить ему, бросить все, чему был предан, прикоснуться... и увидеть, что голос принадлежит деревянной механической кукле...

Мне очень хотелось удержать ее от этого рискованного приближения, но слова мои, корявые и неуклюжие, могли лишь обидеть и ранить тонкую религиозную оболочку, которая жадно впитывала воздух, освободившись от струпьев и грубой кожи неверия. Мне хотелось сказать, что Вера, разрешенная коммунистическими душегубами, не может остаться незапятнанной кровью. И особенно это относится к тем, кто официально осужден представлять эту самую "веру". Как может остаться честным священник, сотрудничающий с КГБ? А они все или почти все должны сотрудничать, должны доносить, должны нарушать тайну исповеди и т.д. и т.п. Через несколько лет она сама все это открыла для себя. Вера ее сохранилась и устояла, но при одном виде черной рясы ее начала бить дрожь. От ненависти.

З. обычно сопровождала меня на мою службу, а по вечерней заре возвращалась тихими богучанскими улицами, шлепая резиновыми сапогами по гибким, еще не просохшим доскам тротуаров. В один из таких вечеров повстречался ей наш сосед Иван Иванович, рано ослепший от спирта. З. проводила его до дома — всего полквартила от нашего обиталища, и весь следующий день была под впечатлением от беседы с ним. Тихо и спокойно он поведал, как во время свадебного пиршества ("Гуляли в Карабуле — дядька мою сестренку замуж выдавал") вся свадьба во главе с женихом и невестой опилась метиловым спиртом, почти все мужики сгибли, а бабы либо ослепли, либо параличными на всю жизнь остались. Вот и он ослеп в свои неполные сорок лет. Но ничего, оклемался. Жену

нашел. Вернее, она его нашла. Сынишка растет — уже девятый годок. И З. все твердила: "Святой он, ну просто святой — ни озлобления на судьбу, ни тоски, и сила от него исходит непонятная".

Все это говорилось серым майским утром. Мы сидели в кухне, хлебали чай, мои глаза слипались от бессонной ночи, и я согласно кивал головой, слушая апологию Иван Ивановича.

А меж тем прошлой ночью Иван Иванович вернулся домой в обычном подплатии после получения месячного пособия по инвалидности (300 рублей с удержанием налогов); привычно, почти не задевая скамеек и табуреток, прошел на кухню, нащупал стоявший на газовой плите утюг и, стараясь не шуметь, на цыпочках вошел в спальню, по дыханию определил, что жена спит, подошел к изголовью и с силой опустил на голову спящей утюг. Он молотил и молотил утюгом, пока не почувствовал, что в спальне кто-то истошно кричит: "Папочка, родной, не убивай мамку!" Сынишка повис на руке и без того отяжеленной окровавленным утюгом. Липкая густая кровь растекалась по желто-золотым обоям. Темно-красные лужицы ее застывали в выщербинах свежeweымытого пола. Он почувствовал, что сынишка скатился с руки, отобрал утюг и потянул его из спальни... Прибежавшие на крик и шум соседи нашли его в сених, висевшим на прочной бельевой веревке. Лицо его и одежда были сплошным красным месивом. "Глянь-ко — ведь он в клавкиных кровях..."

Я видел их обоих на секционных столах, умиротворенных, отмытых от крови и грязи, беломраморных... И привычная рука санитара Семеныча проворно заталкивала в череп Иван Ивановича куски печени и ошметки кишок. "На том свете разберутся, где что по науке расположено, а мы люди простые, нам главное наружность покойника соблюсти", — приговаривал Семеныч, наводя грубый шов на брюхо и грудь покойника.

На похоронах без священника, без речей З. тихо прочла молитву, зажгла тонкую свечу. Соседи уважительно поглядывали на давно забытую и непоощряемую местными властями церемонию, но я слышал, как наиболее бойкие шептали: "И

не поможет эта свечечка — оба хороши: он, стервец, всю кровю еепил своей ревностью, а она-то терпела, терпела от слепца, да и спуталась с постовым, с того берега. Слепому-то кто-то спяну и брякнул...”

Солнце быстро набирает силу в Сибири. Два-три ясных дня в конце мая — и уже сорокоградусная жара накатывает и застилает серым маревом Богучаны. А в тайге под ореховыми кустами еще притаились сугробы серого снега, и по Ангаре время от времени проносятся последние, совсем тонкие льдинки.

Улетел в Красноярск самолет. И снова Богучаны и я. Я и Богучаны.

Лето, лето — буйная цветень дикой черемухи и яблонь, заунывный звон кузнечиков и пчел, но самый характерный звук сибирской тайги — нудный комариный писк и дребезжание мошки. Мошка — это суть летней таежной жизни. Плотная стена окутывает путника, вступившего в таежную чащу. Эта стена клубится, вьется, стремится проникнуть в любую складку тела или одежды. Я чувствовал иногда себя пловцом или, лучше сказать, ныряльщиком, и мошка представлялась мне едкой кипучей жидкостью, старавшейся пробуравить ватник и сапоги и растворить своим ядом мое тело. И не помогали мне никакие отпугивающие средства — новомодные репелленты. Все они воняли бутыл-фталатом и вызывали лишь головную боль и мерзкую тошноту. Пробовал я и таежную сетку — черную, густую, плотно окутывающую голову и спускающуюся на лицо и плечи. Лучше, чем химия, но... братцы мои! Это же пытка — идти в средневековом снаряжении, превращающем день в мрачные сумерки и заставляющем человека покрываться густым слоем соленого пота. Но никакая мошка не могла меня отпугнуть от неистового наслаждения — бродить меж плотно стоящих, обросших зеленоватым мохом сосен и елей, чувствовать под ногами упругое сопротивление можжевельника и вереска, впитывать густой тяжелый дух смолистых испарений и, главное, — главное — ощущать полную, никем и ничем не ограниченную свободу.

Там, далеко внизу у подножия холма, — серо-черные избы, деревянные тротуары, там копошатся мои стражи в мундирах и без оных, там каждую неделю в четверг я должен ставить мою подпись в милицейском кондуите: мол, такой-то из ссылки не сбежал. А здесь — живая завеса мошки, сплетенные сучья не тронутых людьми деревьев, огромные муравьиные города, фиолетовая россыпь таежных орхидей... И ни души, ни человеческого голоса, ни взгляда, ни прикосновения. После камер и барачков, хозяев и кагебистов — тайга стала моим лекарством и отдохновением.

Всю нашу культуру пропитал густой стадный инстинкт: одиночество стало синонимом мученичества. "Выхожу один я на дорогу..." "Удалился в пустыню..." Все эти охи и вздохи — большей частью прямая ложь, а то и похуже — прямое кокетство. Для огромного большинства людей, особенно тех, кто заперт в городскую суету, в советскую мешанину "социалистической жизни", — одиночество — спасение и радость.

Может быть, так тихо и незаметно я и продежурил бы всю мою ссылку в больничном гараже, если бы не приезд в Богучаны моей успевшей повзрослеть и потолстеть дочери. Моя дочка, моя далекая розовощекая, кудрявая Анютка! Всю мою жизнь у меня было и есть чувство вины перед ней. Вины, потому что был причиной ее рождения в этой мерзкой советской трясине, вины, что оставил ее и виделся только по субботам и воскресеньям, вины, что мой арест и осуждение стали концом ее детства...

Она появилась в Богучанах, обтянутая в длинное модное платье, в сопровождении своей удивительно красивой подружки Л. Местные жительницы и жители с недоумением глядели на нашу разношерстную тройку, пробирающуюся по деревянным тротуарам меж промоин. Я тащил два объемистых чемодана, а мои юные красотки порхали, приподымая свои макси-юбки и вертя от любопытства головами: все было столь непривычно после столичного оживления и суеты. На фоне медлительных богучанских дев мои спутницы казались экзотическими птицами, неведомо как оказавшимися в курятнике. Я же со своими чемоданами и спортивными ша-

роvarами представлялся неким тяжеловесным дядюшкой из провинции. Местные девушки и даже пожилые дамы с подагрическими коленками и змеистыми венами на лодыжках все еще были облачены в мини-юбки, ставшие после периода обычной советской пуританской вакханалии чем-то вроде униформы и обязательной части туалета. И потому длинные цветастые юбки столичных жителей казались неслыханной и невиданной ересью и извращением. Местные вьюноши вывихивали шеи, а некто более развязный предложил тут же юбки укоротить, а из обрезков соорудить для него плавки.

Вторжение бурных и непоседливых посетительниц вызвало неожиданную и непонятную для меня в первое время реакцию "бабы" Нюры — так она отрекомендовалась Анютке и Л. Уже на следующий день я услышал, как моя вежливая и мудрая Анна Васильевна визгливо жалуется своему супругу на приехавших и заполонивших дом "вертихвосток". "Ишь наследили — кобылы здоровые, нет, чтобы пол-вымыть или в сарае прибрать!" Поначалу я старался быть своеобразным буфером между развоевавшейся хозяйкой и моими отнюдь не робкими и, более того, языкастыми гостями. Но баба Нюра с каждым днем свирепела все больше. Вид здоровых смешливых, непоседливых девиц был для нее, изломанной богучанской жизнью, добитой смертью сына и параличом, непрерывной пыткой, мошкариным зудом и почти физической болью. Каждый день она находила предлоги — все более изощренные, чтобы вызвать веселящихся после нудятины московской жизни молодых дев на ссору и свару. То заставит их перемыть и без того выскобленные полы в избе, то начнет укорять тем, что поздно спать домой вернулись после местных танцев (куда Анюта и Л. пошли из этнографического любопытства и помирали со смеху, так как местные дамы и кавалеры, отрезанные от мировых цивилизаций, все еще плясали чинные бальные танцы и танго). Наконец, мои несерьезные девушки изобрели способ донимать Анну Васильевну рассказами (от начала до конца выдуманными) о своих московских похождениях и кратковременных романах. Они бередили в ней незаживающую язву, язву сожаления о непрожитой женской

жизни, о недолюбленных, недоцелованных годах, съеденных войной, колхозом, Васькой-красным, горбатым сыном и собственным страхом перед судом соседских перемолвок и осуждений.

Чтобы как-то разрядить сгушавшуюся атмосферу, я брал моих дам в далекие прогулки вдоль мелевшей от жары и лениво несущей бревна и плоты Ангары. Я пытался объяснить им психологию нашей хозяйки, ее трагикомическую беспомощность и их невольную веселую жестокость... Но все было напрасно. "Здравствуй, племя молодое, незнакомое!" Они и без моих наставлений были изощрены в тонкостях человеческих реакций и отношений. Я пытался вспомнить себя в их возрасте, и не только себя — нас, угловатых, неуклюжих, донашивающих отцовские и материнские военные и послевоенные одежды, нас, боящихся неосторожным словом ранить или даже тронуть другую душу. Нас, запертых в собственном теле и способных выражать его честные и необходимые потребности и нужды только через романтические условности и иносказания. В то время, в 18 лет, все эти недоговоренности, отступления и отступления, просто наполненное смыслом молчание казались мне верхом человеческих отношений. И вправду была в них красота, тайна, что ли...

А может, все это чепуха?! Вдолбленное с детства самодерживание, стыд естественных и сильных желаний. Вечная советская самоцензура. И вот сидят передо мной два едва вылупившихся цыпленка, жарятся на солнце, растянувшись на огромных серо-черных бревнах на берегу каторжной Ангары, и говорят как о чем-то обыденном о половых пристрастиях и их многочисленных вариантах и оценивают и судят с уверенностью проживших долгую и бурную жизнь старушек. Комично, не правда ли? А с другого боку — как не позавидовать им, освобожденным временем от мутной и кровавой волны 40-50-х, кастрировавших мысль и тело целого поколения, как не позавидовать тем, кто не знаком со школьно-коммунистическим изуверством, запрещавшим Фрейда и Достоевского, Пруста и Жида?

Да, конечно, у них, моих наследников, отняты иллюзии и

сказки, и их уже не обмануть обещаниями прекрасного будущего или утешениями славного прошлого. И они настойчиво испытывают и допрашивают обнаженное ото всей словесной шелухи — настоящее.

Почему половой акт более священен, чем еда и питье, дыхание и выделение мочи и экскрементов? Почему мы не прикрываем стыдливо рот и нос, но тщательно охраняем всевозможными обычаями и законами обнажение нижней части тела? Не потому ли мы опутали все связанное с полом великой тайной, что ничего таинственного не было и нет, а просто это единственное биологическое отправление, что связывает нас всех в единую надвременную и надпространственную цепь — цепь поколений, цепь народов, стран, рас?

Цепь, цепи, тюремные решетки — физические и духовные. Строгие предписания, как, кого и почему можно ебать и кого нельзя. Да, конечно, сам половой акт — великое преступление — начало Греха, но и грех должен был быть строго регламентирован и расписан. "Закрой глаза и думай о величии Британии", "Стерпится, слюбится", "Именем Союза Социалистических республик...", "Муж и жена — единая плоть..." Почему удовольствие, наслаждение — должно быть наградой за утилитарную цель — продолжение рода? Потому ли, что так было изобретено в туманную пору ледникового периода? Или потому, что так устроен животный мир? Почему влечение к противоположному полу — естественно, а к своему собственному, столь понятному и столь же прекрасному, запрещено всеми обычаями и законами, начиная от ультралевых и кончая ветхими правилами, нацарапанными на стенах мустьерских пещер? Почему самец, преследующий самку, — это прекрасно и романтично, а обратная ситуация — бесстыдство и падение для обоих? Почему любовь должна быть единичной и единственной и продолжаться всю жизнь? Почему любовь ко многим и не на всю жизнь, а лишь на краткое мгновение, прекрасное своей краткостью, — это плохо? Из-за венерических болезней? Но ведь и гонококки должны жить, и бледная спирохета зачем-то изобретена? А?

Плещется мелеющая Ангара, повизгивает Наар — от голода, должно быть. Пора и "домой", на "Нюркину квартиру".

Вся эта холодная война с Анной Васильевной окончилась, как я и ожидал, большим и горячим скандалом. Я вернулся, как обычно, с ночного дежурства в моем гараже и залег отсыпаться. Проснулся я от настойчивых толчков и знакомого голоса, верещавшего: "Папа, вставай, пожалуйста, ну же, папочка!" Вскочив, я увидел моих девиц в каком-то странном полутревожном-полуистерическом состоянии. "Там Анна Васильевна в огороде упала, пойдй, а то мы боимся..." Я, как был в плавках, бросился в огород и обнаружил хозяйку в полубеспамятстве меж грядок с вырванными и затоптанными ростками лука и репы.

А дело было так: "баба Нюра" заставила моих дев полоть ее грядки. Обычно это было моей обязанностью, но тут упрямица Нюра решила наказать "бездельниц". В ее голове просто не укладывалось, что они приехали просто так на прогулку, отдохнуть после школы. Каторжная русско-советская психология — человек обязан работать — пока ползает, пока руки и ноги двигаются. Проклятое клеймо — оно сидит в каждом из нас, выросших в советском средневековье. А мои девицы были из иного, возрожденческого поколения. Словом, они со скрипом и смехом пошли полоть, но закончили весьма быстро и убежали на речку. А баба Нюра, чертыхаясь и бранясь, поплелась на своей палке в огород: проверить и исправить, а затем и мне пожаловаться. До огорода-то она доползла и огрехи девичьей работы обнаружила, но затем от усталости пала на землю и уже подняться-то не могла, сколько за слабые стебли ни цеплялась и ни опиралась. Только почти весь лук вытоптала... Я доволол ее, кудахчущую и жалующуюся на "вертихвосток и проститутток", до постели. Напоил чаем и решил: "Хватит. Мне нужна моя, собственная хата, без 'хозяйки, огорода, Васи-красного и прочих этнографических прелестей".

"Нет у меня жилплощади, даже для вольных врачей нету", — почти кричал Буткус. Задумчивый, но по-прежнему не примирившийся с проклятой необходимостью возвратиться на ненавистную квартиру в Ветеринарном проезде, где баба Нюра тиранит всех, начиная от моих девиц и кончая супругом и

Нааром, я решил попытать счастья на других службах, столь редких в Богучанах. Вся беда, что запрещено мне было работать головой — упражнять мозги, обучая будущую надежду советского рая в их школах, только мышцы мне было позволено тренировать на тяжелых физических работах. А в Богучанах этих самых работ — раз-два — и обчелся: лесоповал, лесхимхоз и пушной совхоз. Удивительно, однако, все связано с истреблением природы: просто рубкой леса, химическим его же отравлением или убиением несчастных белок и соболей, необходимых загнивающему Западу для тщеславия, а восходящему коммунизму для валюты. Побывал я во всех этих истребительных организациях и выяснил, что не могу я там работать: везде нужно разрешение КГБ на отъезд в тайгу. Можно было, конечно, начать "бороться", но зачем? Чтобы получить право истреблять сосны? Или ставить капканы на зверя? Отрезать себя на полгода или более от всего мира, одичать, смириться и "раствориться" в матушке-Природе (с помощью спирта)... Нет — это для моих "друзей" из КГБ самый приятный будет подарок.

В конце следующего дня я, как обычно, пошел на почту. Все местные почтальонши были к тому времени моими хорошими приятельницами. Они обычно встречали меня на полпути и еще издалека возвещали: "Иди-ко, я полную сумку для тебя несу, забирай свои письма, без них плечу легче!"

Так вот, вышел я из почтового отделения на тенистую уютную улочку — и вдруг увидел на противоположной стороне вывеску: "Богучанский кирпичный завод. Управление". Ну что ж, где наша не пропадала! И я вошел в обшарпанное двухэтажное здание, пропитанное типичными нежилыми, учрежденческими запахами: какая-то смесь немытых полов, старых бумаг, конторского клея, гниющего дерева... Был я в моей дежурной униформе: тяжелом свитере, джинсах и, конечно, с моим огромным портфелем с письмами. Короче, директор завода был несколько ошеломлен моей нестандартной внешностью и одеждой и торопливо-испуганно спросил: "Представитель из Управления?" Нужно было видеть его белые от страха глаза и полусогбенную заискивающую фи-

гуру! В общем-то мужиком он оказался неплохим. Усадил меня и стал расспрашивать о моих путях-дорогах. Он был так доволен, что я не из Управления, что тут же приказал одной из многочисленных канцелярских дам зачислить меня на службу. "Образование — пропусти эту графу, а то с высшим Красноярск не утвердит. Да — рабочий на конвейере. Поставь его в первую бригаду к Николаю. Запиши его адрес. И в милицию сообщи. Он тут в ссылке". И здесь я выложил основную свою цель: "Нельзя ли мне квартиру найти, поближе к заводу?" Я знал, что завод находится километрах в пяти от Богучан, в совсем противоположном конце от Ветеринарного проезда. Директор на минуту задумался, а потом промолвил: "Ну что ж, комнату-одиночку я тебе выделю, а о квартире не мечтай — нету их у меня сейчас!"

С этими новостями и с ордером на комнату-одиночку я поскакал "домой". Анна Васильевна постно поджала губы, узнав о моих перемещениях. "И комнату тебе сразу выделил! Ишь ты — везучий. Директор кирпичного — я его давно знаю — сам из ссыльных. Вот и приголубил тебя..." На следующий день мы погрузили мои немудреные пожитки на грузовик, нанятый за "пол-литру", в кузов уселась Л., держа Наара на руках, а мы с Аней забрались в кабину и минут через пять уже поднимались по скрипучим деревянным ступеням в мое новое обиталище на незабвенной Ленинской улице. Комната моя была чуть больше Лефортовской одиночки. Примерно треть ее составляла огромная печка. Стены были обмазаны свежей пачкающей известью, пол покрыт потрескавшимся линолеумом. Узкая, "два на пять" коробка показалась мне неслыханной, сказочной хороминой: ведь дверь есть и ее можно запереть! Так я переехал в другую, советскую, часть Богучан и остался в ней до конца моих ссыльных дней.

Да, я ведь еще не рассказал, что Богучаны, грубо говоря, делятся на две половины: восточную и западную. Восточная еще сохраняет черты старой русской деревни: избы, избушки, дворы и дворики, высоченные заборы, скрипучие ворота, улочки, заросшие травой и затененные деревьями. Запад-

ная часть построена уже при победившем социализме. Коробки двухэтажных стандартных домов, сложенных из оструганных балок; в каждом доме шесть квартир и две "одиночки". Внутренний двор у каждого такого дома застроен сараями и огромным сортиром. Я тоже оказался владельцем сарая, полным всякой рухляди, оставшейся от прежних жильцов: поломанные игрушки, какие-то кастрюльки без ручек и крышек, остатки цемента и извести в бумажных мешках... Все эти деревянные коробки домов вырастали, как грибы после дождя. Их тонкие деревянные стены обшивались изнутри готовой прессованной штукатуркой, полы застилались линолеумом, и искатели "легких" сибирских денег вселялись в эти чудо-дома, принадлежавшие одной из перечисленных мной истребительных организаций: Пушхозу, Химхозу и Лесхозу.

Только Кирпичный завод был среди этих богатых владельцев грязной и неумытой Золушкой, которую так и не нашел (и не найдет никогда) Принц. Самые неудобные и старые из этих бараков принадлежали Кирпичному. Ни травинки, ни деревца вокруг. Лишь пустые палисадники и широкие, избитые колеями проезды между ними, называемые улицами. Если когда-нибудь будущий археолог раскопает эту часть Богучан, он, конечно, решит, что насельники были стеклоделами. Ибо основным элементом его находок будут бутылочные осколки и фрагменты зеленых горлышек и донышек. Не знаю уж почему, но в этой части Богучан было принято не только водку пить, но и бутылки бить. Все улицы и тротуары были усеяны стекольным боем. И вообще, в противоположность старой части Богучан — эта, новая, социалистическая, несла печать чего-то временного, наспех и кое-как сделанного и в то же время запущенного и замусоренного. И люди тут были другие — помоложе и попьаннее.

На следующий день ранним утром я отправился на завод. На углу улицы рабочих собирали в старенький тряский автобус. Я с понятным любопытством изучал моих коллег. Две-три молодые и довольно привлекательные женщины в типичных строительных одеждах: ватник, брезентовые брюки, но кокетливая вязаная шапочка. И, конечно, тяжелые кирзовые

сапоги. Большая часть автобуса — мужчины среднего возраста и несколько совсем молодых парнишек. Все те же грязно-серые ватники или пиджаки, пропотевшие ковбойки. У тех, кто помоложе — джинсы или спортивные шаровары. А мужички постарше — все типичные зэки и по виду, и по языку. Автобус полон громких, грубоватых голосов, запахом пота, лука-чеснока. От некоторых явно несет спиртным. То ли вечерняя заправка, то ли уже утром опохмелились. Меня рассматривают, но очень неназойливо. И вопросов не задают. Ну, словом, лагерная братва. Я как-то почувствовал себя очень хорошо, вернее, привычно: на месте, что ли. Там, в той, старой части Богучан, еще жива деревенская и очень непростая обрядовость в отношениях, ничем, кстати, не проще, чем обрядовость в любом цивилизованном обществе. Здесь же, в этом скопище случайных странников, собранных в автобус Судьбой, все отношения обнажены и условности не соблюдаются, ибо все уравнины: нет в Богучанах более тяжелого и грязного способа добывать хлеб насущный, чем работать на Кирпичном. Слышится голос одной из "дам" — толстухи со здоровым, точно наведенным свеклой румянцем во всю щеку: "Колька вчера из Карабулы нагрязнул, а у меня бутылки нету, я туда-сюда, спасибо Ивановне — выручила. Ты уж прости меня, что посреди ночи тебя подняла". — "Ну а что Колька-то?", — раздается вопросительный мужской голос с явной ехидцей в интонации. "А ничего — бутылку заглотал, три палки мне кинул и в Кежму сегодня подался — белку сдавать поехал". Раздается жеребчий гогот. "Ну, чего ты, — срамит гогочущего второй мужик. — Дело житейское. Люська ведь ему почти жена, второй год он к ней из Карабулы наезжает!" — "Надь, а Надь, где твой-то? Чтой, мы его дожидаем?!" — "А чего его, скота, дожидать, — он же второй день без просыпу со свояком из Красноярска гуляет. Ты, Иван, не жди, он сегодня на работу не выйдет!"

Автобус трогается, и начинается тряская пятикилометровая дорога вдоль пустынных грязно-черных улиц и затем мимо стоящей стеной тайги, покрывшей склоны пологих холмов. По пути автобус подбирает еще нескольких рабочих, и

вот уже в нем нет ни одного незанятого места. Одна из женщин начинает высоким горловым голосом какую-то протяжную грустную песню. Другие подхватывают, стараясь перекричать друг друга. Мужчины безучастно молчат. Сидящий рядом со мной мужичок, подсевший на одной из промежуточных остановок, обращается ко мне: "Невежество все это..." У него узкое, не лишенное приятности лицо, мягкий украинский акцент. "А вы впервые на завод?" Я утвердительно мычу что-то. "А мы тут с женой временно — решили денег подкопить на квартиру в Киеве".

Я замечаю, что мой сосед говорит очень тихо, точно опасаясь, что кто-нибудь, кроме меня, услышит его. И я замечаю усмешки соседей. Неясно, чему они так рады. "Я, между прочим, художник, — представляется мой новый знакомец. — У меня и выставки были..." Он явно польщен моим вниманием и доверчивым молчанием. "А кем вы на Кирпичном?" — невинно спрашиваю я. "Нарядчиком я тут состою. Но работа — собачья. Да вы сами увидите... Я ведь сосед ваш, в том же доме, но на нижнем этаже мы на квартире". Слова его почти не слышны из-за крика-песни, несущейся из разверстых ртов женщин. Автобус круто поворачивает и после извилистого бултыхания по немислимым колдобинам тормозит. С шутками, прибаутками, теснясь и напирая, все вываливаются наружу. Еще одна особенность примитивной стадности этой части нашего общества: отсутствие табу на прикосновения к чужому телу. Толчки, пырки, хлопки по всем возможным и невозможным частям тела — часть принятого хорошего тона. И это везде в подобного рода стадах: в армии, тюрьме, теперь вот здесь, на Кирпичном.

Что же он такое, этот Кирпичный? Когда я впервые увидел его, у меня возникло то же ощущение, которое я испытывал, впервые попав в Лефортовский централ: смесь потрясенного любопытства и ужаса. Представьте себе обширный прогал посреди холмистой таежной непролазности. Вдоль него меж перерытых и перепаханных машинами и тракторами канав и бугров высились странные, ни на что не похожие строения, несколько напоминавшие печи Освенцима и Дахау.

Длинные и широкие кирпичные фундаменты были увенчаны резными металлическими конструкциями, поддерживавшими двускатные, необъятные по площади крыши. Эти фундаменты были не чем иным, как печами для обжига кирпича. Недаром они мне напомнили иные человекоудушающие печки. Эти кирпичные монстры зияли круглыми разверстыми жерлами, полыхавшими огнем.

Сидя на деревянных скамьях в конторе, занимавшей сравнительно новую избу, рабочие продолжали автобусные разговоры и пересуды, вертевшиеся где-то между вчерашней выпивкой, еблей (будем называть вещи своим языком) и поездкой в центр — то бишь в Красноярск. Появился директор, засуетился мой новый знакомый — нарядчик — и рабочий день закрутился.

Я и не заметил, что вдоль мамонтообразных печей приютились длинные, змеевидные деревянные бараки. Их называли сушилками. Меня поставили на развозку готового кирпича и расстановку его на особые деревянные полки. В центральной части барака стояла скрежещущая конструкция, плевавшая паром и водой. В эту конструкцию двое молодых парней загружали смесь глины, песка и опилок, которую месили прямо у края барака два бульдозера. А из машины (рабочие называли ее почему-то "Автоматом", явно с большой буквы) вылезала плотная неприлично коричневого цвета змея, будившая во мне зловонно-туалетные ассоциации. Только эта змея была не круглой, как полагается экскрементам, а прямоугольной. На моих глазах на змею обрушивалась методично чавкающая гильотина, и змея укорачивалась ровно на один тяжеленный и мокроватый кирпич, выезжающий на мокрый от постоянно льющейся воды стол. Как только шесть кирпичей оказывались на столе, рабочий в клеенчатом фартуке и брезентовых рукавицах должен был ухватить скользкие непослушные и необыкновенно тяжелые кирпичи и поставить их на тележку, елозившую на узкоколейных рельсах. На каждой тележке — сто кирпичей, и их нужно было отвезти, толкая в гору, в самый конец барака — метров так за пятьсот. Я толкаю эту проклятую телегу, а

кругом дребезжат хрупкие деревянные полки, груженные мокрым кирпичом. Рядом со мной по другой колее тележку толкает давешняя разговорчивая толстуха. Живая картина из жизни римских рабов или крепостных на уральских шахтах. Толстуха весело переругивается с кем-то в соседней части барака. Наконец-то я допер тележку до места, указанного моим бригадиром Николаем, и, расставив полки, начал разгружать эти куски мокрой глины, которые когда-нибудь лягут в основание еще одного здания на светлой дороге к коммунизму.

В дальнем конце барака слышался грохот и вопль, словно кого-то придавило грузом. Все погрузчицы и погрузчики кирпича бросились туда. Вместе со всеми побежал и я. Из-под только что расставленных кирпичей на четвереньках выползала перемазанная, но, к счастью, невредимая толстуха Люська. Она материлась и охала, проклиная всех на свете, включая директора, бригадира, Брежнева и Подгорного, Бога и черта и всех присутствующих, стоявших в остолбении вокруг.

Остолбение сменилось приглушенным, а потом открытым хохотом. К счастью, она отделалась только царапинами, и — счастливая натура — через минуту ее широкое лицо украшала огромная белозубая улыбка.

Несколько часов я толкал проклятую и все более весомую тележку с кирпичами вдоль узких, дышавших сыростью и мраком сушильных камер. После полуденного отдыха меня приставили к автомату. Сняв ватник и ковбойку, я по совету бригадира Николая натянул холодный и скользкий клеенчатый фартук прямо на голое тело (пробовали вы когда-нибудь прижимать к сердцу плоскую змею?) и встал наизготовку у стального стола, готовый принять кирпичи, вылезающие из горла машины с пугающей скоростью и идиотским постоянством. Тут я впервые понял тех то ли английских, то ли американских рабочих, что громили в каком-то там году машины. Автомат издевательски выдавал и выдавал на-гора кирпичи, заставляя меня надрываться от тяжести и быстроты движения. Шесть мокрых кирпичей — это почти 15 килограммов, которые нужно было схватить разом, не помять и ловко

поставить на шаткие подмости постоянно вертухающейся тележки. В первые несколько минут я просто не успевал дойти до тележки с грузом выскальзывающих из рук кирпичей, как на столе уже угрожающе маячили новые. Примерно через час, когда я развалил одну из тележек, пытаюсь в изящном повороте сгрузить мою ношу, а затем, вызвав немыслимое скопление кирпичей на столе, стал их расставлять прямо на пол, терпению Николая пришел конец, и он убрал меня с этого ответственного места. Ведь бригада (а я был в его бригаде) получала деньги по выработке, то есть по количеству штук произведенного и расставленного на сушилки кирпича, а я своим бессилием и неуклюжестью подсекал основу основ — заработок.

Появился директор. После краткого совещания с нарядчиком и бригадиром он послал меня на погрузку кирпича в печки. Солнце стояло еще довольно высоко, когда я, пристыженный и несчастный, выполз из мрачных сушилок и заковылял по грязному месиву опилок и глины к одной из указанных мне печек. Я шел и размышлял о сложности и трудности человеческого существования.

Всю жизнь я чему-то обучался: сначала премудрости школьных наук, затем многочисленным отраслям знания в университете, в Институте мозга, психиатрии, потом многочисленные усовершенствования — радиология, электронная микроскопия, математика, ну чего только не было! И в общем всегда считал себя и считался другими компетентным, ну не дураком окончательным. А тут я почувствовал, что всех этих знаний и умений недостаточно, более того, они — роскошь, паразитическое растение на теле добывающих потом хлеб насущный. И, признаюсь, я впервые позавидовал и Люське-толстухе с ее карабульским любовником, и Николаю, и даже "художнику" из Киева, и всем этим очень земным людям, так гармонично (как мне казалось тогда!) вписывающимся в этот разгромленный бульдозерами и грузовиками пейзаж таежного кирпичного завода. Они, конечно, говорили, но так, чтобы я не мог слышать, что новичок — сопля, заморыш, не мог шесть кирпичей до тележки донести, что любая баба в

бригаде делала с легкостью, но все это без злобы, без ехидства и издевки, а по-доброму и даже с сочувствием. Всегда ли мы, грамотеи, столь снисходительны к тем, кто не может выговорить "экзистенциализм" и произносит "пинжак", "говорять"?!

Ладно, все это мелкая философия. Нужно было забираться на печку и грузить в огромные квадратные ямы сырой кирпич для обжига и одновременно выгружать его горячий, точно выпеченный хлеб, румяный камень. И тут я нашел себе работу по вкусу: нагрузив большую платформу (примерно 2 на 2 метра) кирпича, я должен был поднять ее с помощью электрической лебедки, подвешенной к крыше печи, а затем отвезти платформу в самый конец здания, к стоявшему наготове грузовику, и торжественно и медленно опустить колышащийся и поскрипывающий груз в кузов. Вот этот самый процесс, когда я шел по шатким доскам меж дышащими теплом ямами, держа в руках пульт и нажимая разные кнопки "вверх", "вниз", "вправо", "влево", а рядом, на уровне моих глаз, ехала послушная махина и, точно дрессированный рыжий бегемот, соскальзывала в бассейн — кузов пятитонки, вот это священнодействие доставляло мне странное, почти садистское удовольствие: "Не ты меня, машина бессмысленная, тащишь, а я — слабосильный и почти невесомый — тебя веду!" Это была моя месть кирпичному автомату, проклятой экскрементной змее, удавившей меня в первые же минуты моей "кирпичной карьеры".

Едва волоча ноги, чувствуя боль во всех моих нетренированных мышцах, я плюхнулся на сиденье автобуса, вывалившего нас на том же углу: меж Советской и Ленинской. Мои девы весело щебетали, устраиваясь на новом месте, а у их ног мыкался неприкаянный Наар, быстро превративший нашу комнатуху в смачно пахнущий собачий туалет. "Мебель" моя была в ту пору самой примитивной: железная койка, привезенная с заводского склада, да две табуретки, оставленные прежними жильцами. Знаете ли вы преимущество маленькой и не заставленной вещами комнаты? Ее можно быстро вычистить и вымыть, обклеить обоями или выкрасить

в любой мыслимый цвет. Позже кто-то из соседей дал мне колченогий стол, солдатскую тумбочку с вечно открывающейся дверцей, откуда-то появились сковородка и две кастрюльки, но это было потом, а пока комната была почти пуста и лишь кровать нарушала ее строгость.

Мы уже устраивались на ночлег — я на полу, мои девицы на тесной и скрипучей кровати с наспех купленным ватным тюфяком, как вдруг (о, это писательское "вдруг"!) кто-то настойчиво постучался в нашу обитель. Я открыл дверь, и в проеме обозначилась высокая фигура в... тулупе, вывороченном мехом наружу. Фигура оказалась моим коллегой по заводу, давешним молодым парнем, месившим глину для кирпичей. Звали его не то Кемаль, не то Гамаль, но не желавшие утруждать свой язык татарскими именами рабочие звали парня Колькой и тот отзывался. С первого взгляда было ясно, что Кемаль-Колька был явно не в себе и с большим водочным передером. Выяснилось, что обитает он в соседнем доме, у тещи на квартире, поскольку женился на прошлой неделе и завод "квартиру не выделил" ("обещали, суки, к свадьбе сделать"). Пьяный, еле ворочающий языком Колька заявил, что желает со мной говорить с глазу на глаз. Девиц моих он словно не замечал. Я вышел с ним на площадку. И тут началось. Он на полном серьезе начал бубнить о какой-то купле-продаже. "Ну, ты же, мужик, понимаешь, в обиде не будешь" и т.д. Несколько обалдев, я наконец пробился сквозь пьяный поток слов и спросил, а что, собственно, он торгует в этот довольно поздний час? Осоловело и непонимающе Колька объяснил: "Женщин твоих я торгую, большой калым даю, сто рублей новыми и унты на собачьем меху, энтот вот тулуп в придачу..."

Дальше все было, как в дурном сне — на площадку выскочила Л. и, очаровательно улыбаясь, потянула окосевшего, в вывороченном наизнанку тулупе покупателя женских душ в комнату. Из недр Колькиного тулупа появилась бутылка, и мои дамы, возбужденные новой и необычной ситуацией, отважно начали разливать водку в нашу скудную посуду (консервная банка и три железные кружки). Колька пил, все

больше пьянел и все так же упрямо торговал девиц. Мне тоже пришлось пить на этом полуночном неожиданном аукционе. "Понимаешь, жена моя — обрюхатела и не дасть, а тут еще теща языком своим всю душу мою выворачивает. И женщина мне нужна..." — бормотал он, поклевывая носом кружку. Анька и Л. были в восторге. "Папочка — продай нас, но не продешеви!"

Вся эта полувеселая, полусумасшедшая татарская торговля продолжалась довольно долго, пока Колька-Гамаль не разобрался, что над ним потешаются. И тут он рассвирепел. С трудом мне удалось его выдворить из комнаты и отвести в его дом. По дороге он несколько раз пытался душить меня, накидывая полы тулупа на мою порядком шумевшую от водки голову, но поскольку душителю было совершенно не в себе, мне каждый раз удавалось вырываться из-под вонючего меха, и я продолжал тащить Кольку по направлению к его подъезду. На шум выскочила какая-то женщина и стала помогать мне. Оказалась она колькиной тещей. Она энергично работала языком, мешая татарский со звучным русским матом, и при этом ухитрялась колошматить Кольку по спине, так что даже при тусклом свете уличного фонаря можно было видеть облако пыли, выбиваемой из тулупа.

Оставив незадачливого торговца и калымщика в руках законной тещи, я вернулся домой и застал моих веселящихся и полупьяных дам, не желавших ложиться спать, в настоящей эйфории. Наконец, все утихомирились. Стояла глубокая, тихая ночь. Откуда-то выполз Наар, прятavшийся во время этого неожиданного татарского нашествия, и залег прямо у меня под подбородком, по-собачьи целуясь и как бы жалуясь на причиненное беспокойство. Ночь. Татарский аукцион. Я — кирпичных дел мастер. Сплошное извращение...

Улетели мои девочки в Москву. Мы — Наар и я — проводили их в местном аэропорту (деревянное строение с претензией на современные архитектурные линии — Богучанское Орли). Мы все были приподнято оживлены, но с какой-то горчинкой. Удивительный это обычай — провожать близких

и далеких... Как будто недостаточно того, что люди расстаются, нет, нужно еще продлить это мучение на несколько часов, да еще с болью осознать, что все мы изолированные песчинки в море времени и пространства и что, расставаясь, нам зачастую нечего сказать друг другу. Вот и стоят и пытаются друг друга провожаемые и провожающие, обмениваются ненужными шутками, и ждут-не дождутся, когда наконец захлопнется люк самолета, заревут моторы и кончится это нелепое состояние — провожание, и останутся только грусть и теплое воспоминание о близости душевной, часто более важной, чем близость пространственная...

И потекла моя богучанская ссылка с ее упражнениями в поднятии тяжестей на кирпичном заводе, долгими пешими переходами по таежным холмам и болотам с Нааром, твякующим где-то в чашобе, и, конечно, писанием писем. Оглядываясь назад, я с удивлением вижу гору исписанной мною бумаги, разлетевшейся в авиаконвертах по всему миру. Кто только не был моим адресатом: рабби из Бруклина, рабечене из Филадельфии, семья богатого бизнесмена из Майами и энергичная лекторша из Нью-Йорка, сделавшая источником своих — и неплохих — доходов лекции на еврейско-советские темы. И тонкая, изящная, как боттичеллевы модели, Вики, шестнадцатилетняя девочка из города со сказочным названием Рамат-Ган.

Не понимаю, как я ухитрился разговаривать в письмах со всеми этими столь разными и непохожими людьми на моем корявом английском и еще более корявом и безграмотном иврите?! И еще более загадочно для меня, как они угадывали верный смысл того, что я думал и не мог выразить из-за проклятой языковой немоты. А они угадывали, клянусь Богом! Странно — девяносто девять процентов моих адресатов — женщины или дети. Наверное, у них больше времени, или они более сентиментальны и неравнодушны к судьбам преследуемых где-то там, за тридцать земель...

Вечерами я усаживался в моей узкой каморке, и вокруг меня возникал рой заморских, чужеземных видений. Они весело болтали, рассказывали о своих домашних заботах,

расспрашивали меня о Сибири, о России, обо мне самом. Их голоса перекатывались призрачным эхом, отражались от близких таежных холмов и, по сути, пели только одну и необходимую мне, моей душе песню: "Помним, помним, не забываем, надеемся!.." Кто-то неизвестный из несбыточного далека — штата Коннектикут — обращался ко мне: "Дорогой кузен!" Видимо, думал, что для сердобольных советских цензоров очень важна степень родства, и от родственников письма проходят легче сквозь железный занавес. На фотографии кузен оказался очень милым, широко улыбающимся парнем, сидящим в гамаке со своей невестой-японкой, точно сошедшей со старинных лаковых ширм. Он рассказывал, как о чем-то очень обычном и простом, что вот, мол, накопил денег, занимаясь продажей домов и земель (теперь-то я понимаю, что денег у него было в достатке), бросил работу и осуществил давнюю мечту: купил кусок земли в лесу и построил своими руками дом, и теперь вот сидит на пороге или на террасе и пишет книгу о своих студенческих похождениях. Не знаю уж, почему должны быть интересны эти похождения широкой публике, но ведь это не важно, важно другое: я сквозь это письмо почувствовал, что где-то на противоположной стороне Земли можно жить мечтой и даже можно эту мечту осуществить. И еще я чувствовал, что этот самый парень при всей сложности и запутанности тамошней жизни не боится удушающего "порядка" системы, что он свободен от страха вечной слежки и доносов. Когда я читал его письма, сердце мое радостно и счастливо прыгало, точно мячик, и радостно расширялась грудь навстречу Надежде...

А по утрам все было, как обычно: пропахший потом и затоптанный грязью автобус собирал нас на углу Советской и Ленинской и вез сквозь утренний туман на Кирпичный, к его циклопическим печам, змеевидным сушилкам и скрежещущей лесопилке.

Постепенно из неразберихи лиц и одежд Кирпичного стали возникать характеры и личности, стали вырисовываться отношения, оказавшиеся совсем не простыми в этой, казалось бы, сведенной к примитиву жизни.

Как-то в один из вечеров, когда длинные фиолетовые тени выползли из жерл кирпичных печей и все собрались на ступеньках обшарпанной конторы в ожидании автобуса, на въезде в завод показалась роскошная молочно-белая "Волга", проскакавшая по ухабам и буеракам и лихо вырулившая прямо к собравшейся и затихшей в ожидании грязно-серой рабочей толпе. Из "Волги" на карачках (буквально) выполз некто, по пояс голый и — извините — в рваных подштанниках. "Васька! Васька Сечкин!" — радостно загоготали мои коллеги. "Ишь, как нажрался! Когда из Красноярска? Да закрой своего жеребца, а то он из стойла вываливается!" — "У-у-у, бесстыдник, Валька тебя не видит, а то выдала бы за срамотищу такую!" — "Да что ты, Кать, на радостях он — ишь "Волгу" какую отхватил!"

Вася Сечкин — как оказалось, бывший моряк, кругом в татуировках, был на заводе партийным боссом. Этаким рубаха-парень, сквернослов, женолоб, в общем, как говорится, свой в доску. Но, присмотревшись и прислушавшись, я заметил, что этот рубаха-парень очень осторожен в выборе объектов своего веселого сквернословия: никогда он не касался святых предметов коммунистического культа и тем более лиц в иконостасе Политбюро. И хоть на словах он переспал со всеми женщинами как в Богучанах, так и в досягаемой округе, на деле-то был он отважным домоседом, не выходившим из повиновения у своей миловидной, хоть и несколько бесформенно-жирной супруги Вальки. Всего любопытнее было наблюдать, как Васька исполняет свою партийную роль во время так называемых производственных собраний. На кровожадные требования директора: "Увеличить, поднять, укрепить" и т.п. Васька отвечал своим народным теорком: "Конечно, ебена мать! Выдадим, не подведем! Да за кого ты нас принимаешь, Егорыч, мы же советские люди и Ленин у нас в голове!" Все это звучало пародийно, но в общем пристойно по советским понятиям, и Васька всегда получал премии к престольным советским праздникам, и во время "крестных" ходов, то бишь демонстраций на Первомай и Октябрь, вышагивал в первых рядах вдоль богучанских де-

ревянных тротуарах, неся либо знамя, либо какую-нибудь партийную икону.

Должно быть, по наущению моих "друзей" из местного ГБ Васька иногда подкатывался ко мне и начинал вести душевные беседы. "Неужто в Израиль поедешь? — притворно изумлялся он. — Дак там же ничего нет — один Даян без глазу, да песок кругом, и арабы стреляют!" Я подхватывал его принужденно веселый тон и отвечал, что Даян — Даяном, а у меня пока все-таки два глаза, а песок — он минерал полезный, без него и кирпич дерьмовый выходит. Другой раз я показывал ему какую-нибудь открытку, присланную мне Рут Офер (о ней особый сказ) и риторически вопрошал: "Вася, покажи мне песок, а то я за деревьями не разгляжу!" Открытки обычно изображали либо пальмовую рощу близ Беер-шевы или же, того лучше, апельсиновые сады по дороге на Тель-Авив. "Да не может этого быть! — восклицал он. — Это все пропаганда. На открытке все нарисовать можно. Да я тебе из Богучан так рай глянцевый наведу — ахнешь! И вообще, Исакыч, ну чего ты туда попруешься?! Ты вот лучше срок свой досиживай, да оседай тут". — "Ну и что же я тут буду делать? Кирпичи?" — "Да нет, зачем же кирпичи! Это так, временно. Мне тут докладывали... — здесь он как-то неловко поперхнулся, — то есть дружок мой из милиции говорил — человек ты с образованием, отсидишь и оседешь тут, учительствовать начнешь. На охоту с тобой ходить будем. Наша тайга, ну чем она тебе не апельсиновые деревья! А апельсины мы из Марокко тебе доставлять будем, без лимита!"

От всей его душисто-кагебистской ахинеи мне хотелось громко и неприлично ругаться, но я помнил, где я и кто меня испытывает и пытается. И потому, кусая до боли губы и язык, я старался отвечать ему в тон — весело и нахально: "Детей учить, Вася, у меня терпения не хватает. А охота — это дело кроважадное, за нее на том свете черти жопу будут поджаривать". Он весело ухмылялся: "Ну, ежели так, то, считай, от моей задницы только угольки останутся!.." И облегченно переходил на более нейтральные темы: "Галочку вчера навещал — аж в Иркинеево на еблю закатился..."

В общем, мужик он был приличный и выполнял свою роль "наседки" не очень прилежно, почти не скрывая, кто его посылает на эти воспитательские беседы.

Душной июльской ночью я был разбужен далеким колокольным звоном, разноголосицей человеческих вскриков и суматошными розовыми бликами, игравшими на стенах моей кельи. Выглянув, я увидел, что далеко за лесом в той стороне, где стоял Кирпичный, вздымается розовый столб света, а по дороге, обычно пустынной, катятся с пугающей скоростью грузовики и скрежесут трактора. Чей-то голос на нижнем этаже пробасил: "Кать, да не спи ты, кажись пожар где-то!" Послышалось хлопанье дверей, топот босых ног, и вскоре под моим окошком собралась знатная толпа соседей и коллег по заводу. "Не иначе, где-то на Кирпичном занялось" — "Да не Полина ли с Борисом погорели?!"

Полина и Борис Шорины — другая и очень симпатичная моя связь с Кирпичным. Уже в первые мои дни на заводе я с удивлением обнаружил, что недалеко от печей и змеевидных сараев-сушилок живет семья — мать, отец и двое парнишек — пяти и девяти лет. Занимали они полдома, а на другой половине ютилась наша контора. Так что, когда вечерами пустел завод и только сторож оставался в конторе, семья Шориных становилась хранителем и охранителем обширной территории завода. Почему уж они там поселились, на отшибе от всей богучанской кирпичной коммуны, сказать трудно, наверное, были "исторические" причины. Шорины и особенно Полина считали себя почти хозяевами Кирпичного. Оба они были до смешного, до гротескного непохожи. Она — большая, ширококостная, лет так за сорок, с избитым оспинами, но не лишенным приятности лицом, всегда опрятно одетая и сохранившая приверженность к модам послевоенных лет — к большим взбитым кокам в прическе, к мужским пиджакам с ватными плечами и голубым платочкам, прикрывавшим темно-русую гриву все еще густых волос. Вся манера держаться была у нее повелительно-надменной с теми, кто был одного с ней положения, и заискивающе-дипломатической — с начальством. Я никак не мог сообразить, кого она мне напоминает, пока

случайно не увидел затейливую татуировку, тщательно прикрываемую длинными рукавами и чулками. И тут я понял, что Полина из "нашей" лагерной братии, из того мира, где иерархия устанавливается не званием или положением, образованием или воспитанием, а собственным умом и характером и зачастую физической силой. И Полина обладала всеми этими качествами в полной мере. Прислушиваясь к ее бритвенно-острому разговору, к ее умению двумя-тремя словами прищипнуть человека, к ее низкому с хрипотцой голосу, я легко представлял ее на злачном проститутчем углу большого города, — ее, большеротую, молодую, заманивающую очередного клиента нахальным будоражающим и бесстыдным словом.

Я легко мог представить ее в лагере или на пересылке, дерущейся и изрыгающей проклятия, и столь же ясно видел ее принаряженной элегантно секретаршей с папиросой в углу ярко накрашенного рта, улыбчивой и обхаживающей своего толстого семейного начальника. Все это и многое другое было в жизни Полины: и воровская малина в Ростове, и посадка за растрату в большом магазине, и ссылка за "тунеядство", и приверженность к национальному русскому наркотику — зеленому змию с красной сургучной головкой. Все это было... И вот теперь она в очередном кругу своей бродяжьей жизни осела, остепенилась. Завела семью, родила на старости лет двух пацанов. И ко всеобщей местной зависти втерлась в доверие к директору завода, который и поселил ее здесь, на отшибе, сделав кем-то вроде своего негласного заместителя или, вернее, осведомителя.

И кирпичная коммуна, хорошо помнящая ее патлатую, в оборванной и обоссанной юбке, ее, делившую дрожавшей дланью пол-литра на троих, не могла простить этого превращения и приобщения к богучанской "аристократии". "Ну как же, — слышал я пересуды в конторе, — директор-то теперича все наряды на Полинку списывает, даром, что ли, на печку ее в ночь поставил..." — "Да спать она с ним и все тут!" — "Я ей, етой сучке, еще рога обломаю, — настучала, будто я две доски с лесопилки унес, а сама на сторону два грузовика с кирпичом продала..." — "Ишь ты, трезвенная стала, а помнишь в

70-м, весной-то, мы с ней так надрались, что чуть на печке не сгорели!” Словом, не любили Полину на Кирпичном, а в маленьком, замкнутом сообществе ненависть, неприязнь легко находят путь к мести...

Муж же Полины Боря — Борис Шорин напоминал мне медвежонка и по внешнему виду и по характеру. Был он приземистым, косноязычным русачком, откуда-то из центральной России. Рот его, краснотубый и чувственный, был почти все время открыт, что придавало ему вид полудиота. Но идиотом он далеко не был. Под тяжело нависшими бровями сверкали испуганно-любопытные глаза, а корявые неотесанные слова слагались в далеко не безобидные мысли о правителях, о всей этой богучанской жизни...

Работать Борис не любил и не хотел — ни на Кирпичном, ни где бы то ни было, включая собственный дом и хозяйство. Истинным его пристрастием и увлечением была охота. Несколько раз в году с компанией подобных ему любителей заваливался он километров так за четыреста от Богучан, в самую таежную глушь — бить соболя и белку. А то и ловить красную рыбу в далеких, не нанесенных на карты протоках Ангары. Не знаю, был ли Борис хорошим добытчиком и рыболовом. Во всяком случае, ни соболей, ни белок не было в Полининых туалетах, да и снесь на столе у Шориных была той же стандартной богучанской — без красной рыбы.

Не результат, а сам процесс был дорог Борису: длинный трудный путь сквозь таежные буераки, привалы на заимках и в маленьких тесных избушках, куда охотники завозили летом припасы, ночной костерок с кипящим чаем, тяжелое дыхание лося, проваливающегося в прикрытую еловыми лапами яму, залисистый звон собак, нашедших зверя, — все это было главной целью и приманкой для его души. Был он, по моему рассуждению, неисправимым романтиком и взрослым ребенком, вечно ищущим приключений и безумно скучающим в обыденной городской или деревенской жизни. Может, поэтому и сошлись столь непохожие внешне Шорины — оба искатели приключений, бродяжки, которых мутная река жизни столкнула и закрутила, опутала и выбросила на пологий Богучанский берег.

Как я уже говорил, занимали Шорины половину большой избы, а в другой половине была заводская контора, пропахшая табаком, потом и еще чем-то непередаваемым, специфическим для подобного рода учреждений. Ночью в конторе дежурил сторож, а днем гомонили рабочие и распоряжались нарядчики. Сторожем в тот памятный "пожарный" день была Стеша. Голосистая и бесстыжая на слова и дела Стеша приводила на ночную свою работу разного рода компаньонов. "Что я, хуже других, что ли! Ночью и без ебаря, да еще в етой конторе вонючей!" Словом, сторожила Стеша, запершись в конторе, так, что можно было вынести весь Кирпичный, и никто бы не заметил.

В эту ночь Шорин был на рыбалке где-то за Карабулой. И Полина с ребятишками да Стеша с ее очередным ухажером проснулись в густых клубах едкого соснового дыма, валившего изо всех щелей. Телефон, как водится в этих случаях, не работал, и пока Андрюшка — старший из двух отпрысков Шориных — бегал в поселок, вся изба превратилась в большую грудку головешек. Кто и как поджег Полинину избу, так и осталось секретом, хоть и приезжали всякие следователи и расследователи. Я помню реакцию Бориса, вернувшегося с рыбалки, крепко пахнувшего водочным перегаром и слегка обалдевшего: "Уходил рыбачить — был дом и жена, вернулся — всех словно корова языком слизнула, — только черная плешина да головешки".

Но пожар не выжил Полину с Кирпичного. Цепкая, хваткая, она заставила Бориса укрепить и оштукатурить бывший сарай, стоявший неподалеку и не тронутый пламенем. Перенесла туда остатки барахла, застелила глинобитный пол домоткаными половиками, выбелила почерневшие от времени доски известкой и поселилась там в непосредственном соседстве со свиным хлевом. Прежде в этом сарае помещалась черная баня.

Победно улыбаясь, Полина возвестила рабочим, собравшимся на обычную утреннюю сходку в старой, покосившейся от времени конторе: "И ништо меня с Кирпичного не сдвигать. Чтоб это мы теснились жопами в поселке, да слушали

сплетни всякие, я лучше зимой у костра сидеть буду, да вдалеке от Богучан!” Языкастые обычно дамы с Кирпичного молчали да переглядывались. ”А тот, кто меня поджег да с детьми на улицу выставил, от суда Божьего не уйдет, а я ему желаю ноги-руки сломать да ослепнуть!” — ”И чего ты, Полина, на нас взъелась да проклинаешь, не знамо кого, — заговорила одна из работниц. — Слова-то твои — грех, может, и вправду проклятиями-то человека можешь изуродовать”. — ”А чего это ты, Люська, извергов защищаешь? Уж не родичи ли они твои, что меня подожгли?” — ”Ты что, рехнулась!” — торопливо заговорила приземистая розовощекая Люся Эгова, жена одного из рабочих. Но ответ ее был каким-то неубедительным, мягким. И Полина, мрачно улыбаясь, сверлила взглядом побледневшую Люську. В Богучанах свято верили и верят в дурной глаз, в наговор, нашептывание. Верят и боятся словесного проклятия, верят во враждебность всего чуждого и непохожего и избегают его. Для Люси Эговой — все женщины и мужчины с темными волосами и оливковой кожей — цыгане и воры. И как я ни пытался убеждать, что не все черноволосые люди — цыгане, ничего не помогало. ”И не дотронусь я до того места, где эта цыганка сидела...”

Полинин пожар изменил и мою судьбу. В тот же день к вечеру около меня выросла длинная тощая фигура директора. Он постоял несколько мгновений, глядя, как я барахтаюсь с охапкой кирпича, а затем проговорил: ”Хочу я тебя на другую работу поставить”. — ”???” — был мой немой ответ. ”Сторож мне нужен, я эту Стешу больше к заводу не подпущу. Проебала контору да и Полинину квартиру заодно!” Я с радостью согласился. Избавиться от липкого кирпича, от всех этих разговоров о водке, поездках в Красноярск за коврами и холодильниками!.. Ну скажите — кому нужен в Сибири холодильник, когда есть вечная мерзлота под каждым домом — в каждом погребе!

Итак, я снова начал сторожить, но на этот раз не больничные корпуса и гараж, а нечто более эфемерное — таежную глушь. Каждый день к вечеру я начинал собираться на ”служ-

бу”. Мой увесистый портфель наполнялся пачками писем, бумагой, авторучками и, конечно, провиантом: ночь в Богучанах долгая и даже летом холодноватая. Если раньше мои утренние путешествия на завод совершались в теплой компании и в автобусе, то сторожить я отправлялся обычно пешком или прихватывал попутную машину. Наару, подростку, но все еще неразумному щенку, смена моей специальности пришлась очень по душе. Уже за час до отбытия он начинал радостно повизгивать и нетерпеливо рваться к дверям: еще бы, свободная жизнь после сидения в тесной моей каморке! Я ведь его не водил по-городскому на поводке, а по-богучански давал полную свободу действий. В Богучанах собаки независимы и надменны, как кошки. Ни одна из них не знакома с ошейником или поводком, и привязанность собачья к хозяину — явление редкое. Каждый хозяин держит по шесть-семь собак — целую стаю, тут уж не до привязанности, а быть бы сытой и в тепле. Потому и напоминали они мне кошек своей принадлежностью к дому, к его окрестностям, усиленно охраняемым, кстати, не столько от человека, сколько от других собачьих стай.

Итак, нагруженный портфелем, обутый в высокие сапоги, неся на себе прочие теплые одежды, я отправлялся в далекий переход по укатанному гравием шоссе. Наар мелькал где-то очень вдалеке, а вокруг — удивительная одинокая тишина. По левую сторону от дороги холмится таежный бурелом, по правую — редкие лесопилки да заросли терпко пахнувшей к вечеру черемухи. Вот и последний дорожный поворот, и въезд на нарытые бульдозерами и грейдерами колеи и ямы, зачастую полные жидкой грязи даже в самую жаркую сибирскую сушь. Обычно с моим появлением бывшие мои коллеги по кирпичеванию усаживались в стоящий наготове автобус и отправлялись по домам. И наставлял Великий покой на Кирпичном. Только изредка этот покой нарушался гомоном птиц, резкими детскими голосами Полининых отпрысков — Андрейки и Бориса-младшего — да редким шуршанием и гулом проезжающих по шоссе машин.

Уж зачем нужен был сторож на Кирпичном — мне невдомек.

Телефона у меня не было, оружия, кроме большого дрючка, тоже, Наар на собаку еще не тянул, а охранять я должен был огромную таежную плешину — примерно четыре километра в длину и полкилометра в ширину. Так что всю ночь до рассвета, каждые два часа я топал из одного конца завода к другому, спотыкаясь и шлепая по жидкой грязи или утопая в мягком покрывале опилок.

Больше всего я любил бродить около горевших кругло-суточно печей. Ночью их странные решетчатые фермы и балки превращались в призрачные синие и фиолетовые кружева, высвечиваемые рыжим веселым пламенем, пробивающимся сквозь раскаленные кирпичи. Вместе со мной в сезон обжига (всю зиму и осень, начиная с августа и кончая апрелем) работали обжигальщицы. Раза два в ночь они должны были подкидывать в раскаленные жерла печей огромные сосновые чурки. Покажи эти мамонтообразные обрубки какому-нибудь американскому мачо-киногерою (вроде Селека или Берта Рейнольдса), они бы упали от одного вида этих чудовищ. А эти маленькие, щупленькие женщины, изловчившись, не только поднимали, но и бросали чурбаны, да так ловко, что они пролетали всю длину трубообразной десятиметровой печи и с глухим гулом шлепались в ее воющем красно-белом нутре, вздымая рой искр, взметывавшихся под самую крышу, висевшую в таинственной фиолетовой темноте.

Особенно интересовала меня одна из женщин со странным, отдающим началом века именем — Калерия. Ну, конечно, в каждой шутке и прибаутке на заводе Калерия превращалась в Кавалерию. Была она маленькой, сухонькой, точно хорошо прокопченная головешка, с запавшими ярко-малиновыми щеками и плоской мальчишечьей фигурой. Знакомство наше произошло при более чем необычных обстоятельствах. Калерия занимала квартиру в том же доме, что и я, но в другом подъезде. Как-то зимой я услышал обычные шумы и крики, сопровождавшие воскресные местные гуляния. Но на этот раз обычность была нарушена каким-то диким ревом и визгом. Был яркий солнечный день. И я решил податься от всей этой пьяной какофонии куда-нибудь "в город", то есть по

моему обычному маршруту: почта, булочная, книжный магазин (был и такой в Богучанах). Было на редкость тепло, не больше двадцати градусов мороза. Но все-таки щеки пощипывало. Вышел я из подъезда и направился было к воротам, как вдруг отворилось окошко на втором этаже (это в сибирскую-то зиму!) и оттуда выпрыгнул некто в длинной белой ночной рубашке и утонул в высоком сугробе. Подбежав, я увидел совершенно обезумевшие глаза на сморщенном ведьмоподобном личике, высунувшемся из мягкого сугроба. Постепенно выпрастывая все свое елочно-палочное тело, из сугроба выползла Калерия. "Вишь ты, хахаль-то мой перебрал, — объясняла она, нисколько не смущаясь своего неглиже, — да стал меня гонять ремнем, — я и сиганула. Хорошо снег глубокий, а то ведь насмерть зашиблась бы. У-у-у, блядский выродок!" — погрозила она кому-то в окно.

Так вот и жила Калерия, как и большинство дам с Кирпичного, меняя своих ухажеров и непрестанно воюя и дерясь с ними. Она появлялась на Кирпичном глубокой ночью, обычно в глубоком подпитии. И залегала у печей. Как уж она выдерживала их жар — не знаю. Интересно, что ее, мягко говоря, непривлекательная внешность отнюдь не была помехой для амуров. Несколько раз я, обходя дозором свои владения, наткнулся на Калерию в весьма романтической позе: раком с пристроившимся сзади бушлатным "кавалером". Она даже как-то хихикнула: "Исакыч, я, вишь, опять поженилась. Да не дергайся ты, — обратилась она к своему партнеру. — Взялся ебать — еби нормально". Словом, ни дать, ни взять кирпичная Мессалина или Клеопатра (обе, говорят, были бесстыжи, но, думаю, Калерию перещеголять не смогли бы). И скажите вы мне, где все эти народники да толстовцы находили своих высоконравственных и стыдливых героев? Сколько я жил в этом самом глубинном деревенском месте, столько и видел: животный и никак не прикрытый блуд. Я отнюдь не морализирую. Нет, нет и нет! Просто меня раздражает неправда в противопоставлении "развратного" города "высоконравственной" деревне. Чушь все это. Сторожа на Кирпичном, чего я только не насмотрелся! Видимо, глухое это место бы-

ло давним излюбленным пристанищем для ночных Богучан. Богучанский Таймс-Сквер, так сказать. Даже сам председатель райсовета как-то прикатил на своей роскошной "Волге" и устроился с секретаршей на самом въезде в Кирпичный. Красная от сдерживаемого смеха, Калерия сказала мне: "Исакыч, чего ты тут сидишь?! Там кто-то на машине в самый завод въехал, да стоит на повороте. Может, кирпичи уже во-рует!" Подозревая некий подвох, я все-таки пошел с фонарем и Нааром, весело трусившим рядом, к машине, застывшей на въезде и высвечиваемой слабеньким печным прожектором. Подойдя и посветив, я увидел...белую ногу, торчавшую из окна "Волги". Наар, подскочив, начал деятельно обнюхивать и лизать ступню, встав для этого на задние лапы. Сквозь заднее стекло я увидел сумасшедшую улыбку некоего мужика и распатланные женские волосы под его подбородком.

Вернувшись, я застал Калерию в самом прекрасном расположении духа. "Видел? Председатель это наш. Секретаршу свою уебывает, прямо в машине. Вишь ты, партийный и семейный, а туда же к нам, на Кирпичный ездить!" Мы услышали урчанье торопливо уезжавшей "Волги", которое почему-то быстро стихло. Через несколько минут в контору вошел потрепанного вида одутловатый гражданин неопределенного возраста в помятом костюме, расшнурованных ботинках, но при галстукке. "Василий Семеныч! — елеинно проворковала Калерия. — Ишь какая честь — хозяин города, в такой час прибыли!" — "Да машина моя в овраг закатилась — нет ли у вас тут трактора?" — "Как не быть, да рабочие-то только завтра будут!" — "Ну ладно, ну пойду я, — пробормотал председатель. — Ты, Каля, того, не трепи по селу!" Он ушел, чавкая ботинками по грязи. "Видел?! — опять принялась за свое Калерия. — Уж я-то молчать! Завтра же пойду к его Машке — сватья она мне, жена-то его. Уж она ему врежет, так врежет!" Не знаю уж, выполнила "Каля" свое обещание или нет, но председательская "Волга" на Кирпичном больше не появлялась.

Так и шли мои дежурства — монотонно и размеренно. Я быстро подружился с Шориными, особенно с Полиной, кото-

рая любила от скуки вечерней заглядывать в мою "резиденцию" в конторе в сопровождении либо Бориса, либо детишек. Интерес ее был небескорыстен, ибо скоро, очень скоро я стал чем-то вроде репетитора у старшего сынишки, Андрейки, пацана доброго, но, мягко выражаясь, туповатого. Сколько я натерпелся мытарств во время попыток вложить в его голову и рот начатки английского языка. Никак не давались ему проклятые звуки ти-эйч и дабл-ю, а все его усердные и искренние старания обычно останавливались на шумных "ф-ф-ф" или "з-ззис ис", или "физ из". Но в смысле рукомесла был он незауряден. Из валявшихся в обилии на заводе обрезков он вечно умудрялся что-нибудь смастерить — то макет ружья, то грузовик, то самокат. Ну, а математика была для него и вовсе непостижимым краем.

Богучанские детишки... Их в каждой семье по три-четыре. Удивительная сибирская морозоустойчивая поросль. Я видел маленьких пацанят, не говоря о таких "жеребцах", как Андрюшка, игравших и гонявших по улицам Богучан в сорокаградусный мороз. "Нормальные", то есть средне- и центрально-русские уроженцы, папаши-мамаши этих детишек, обычно прятались по домам с их жарко натопленными спальнями и "салонами" (так богучанцы называют центральную комнату — как бы гостиную — в своей избе или квартире). А отпрыски и в ус не дуют — гоняют футбол, только щеки румянятся да брови индевеют. А уж в "жару", то есть при минус двадцати, я не раз наблюдал Андрюшку и его младшенького братца шмыгающих из избы в сортир в галошах на босу ногу.

Кстати, об этих "куда царь пешком ходит" — ничего более мерзкого из человеческих изобретений я не знаю. Все, кто жил в городках, деревнях, дачах, знают, как это устроено: двух-трехметровая яма с помостом и дырой в центре, а вокруг нечто вроде скворечника, без окошек, но со многими щелями. В Богучанах я увидел ту же конструкцию. Но только летом и весной она служила хорошо, хоть и была рассадником мух и зловония, ибо заливать известкой экскременты никому в голову не приходило (я было начал, но соседи запротестовали: уж очень хлоркой воняет). А вот зимой сни-

мать штаны при сорока или пятидесяти градусах мороза (по Цельсию) было тошно. Еще тошнее было то, что экскременты обладали естественной тенденцией образовывать сталагмиты, то есть колонны, непрерывно растущие после каждого посещения отхожего места. И в одно прекрасное или не прекрасное утро я обнаруживал, что над пресловутой отхожей дырой возвышается столбик с довольно острым накопником. Так что вместо утреннего или вечернего очищения можно было подвергнуться популярной русско-татарской казни: сесть на кол. Волей-неволей нужно было брать лом и разбивать эти творения человека и природы. Ну, хватит об отхожих местах, думаю, картина понятная. Мне даже при воспоминании становится холодно...

Как это случилось, что ты вошла в мою жизнь? Как это случилось, что я не остановил тебя? Это было утром, ясным августовским утром. По мокрому от ночного дождя полю пробежало упругое шасси самолета. Торжественно, точно на параде, подкатилась к нему лестница, отворилась дверь люка, и оттуда выкатилась обычная толпа командировочного и ссыльного люда. И вот среди этой толпы я увидел огромные темно-голубые глаза. Где-то там над ними нависал козырек смешной кокетливой, кожаной фуражки. Были, конечно, щеки и даже нос, руки, тащившие пухлые саквояжи, неправдоподобно большой рюкзак... Но все эти посторонние вещи не могли заслонить этих озер голубого света, окруженных мохом ресниц и прозрачно-розовыми берегами век. "Вот и все!" — промолвила ты очень низким голосом. И почему это у всех "моих" женщин были низкие грудные голоса? Я, конечно, галантно подхватил чемоданы и рюкзак, и мы побежали вдоль странно многолюдных богучанских улиц. Или мне показалось, что они были полны народу? Я, во всяком случае, все время натекался на кого-то, раскланивался с кем-то, отдавливал кому-то ноги, набивал шишки на коленях и непрерывно о чем-то болтал. И главное-то, я видел всю эту опереточную картину со стороны: идут по Богучанам цветущие сине-голубые глаза, а рядом, навьюченный бага-

жом, неуклюже суетится некто в спортивных брюках и ковбойке, с большим, более чем сорокалетним жизненным стажем, двумя вдребезги разбитыми семейными историями и еще кое-чем, о чем я расскажу позже, если хватит смелости... И вот этот, что в ковбойке и брюках, ссыльный и прочее и прочее, пыжится и петушится и старается быть остроумным и едким, блестяще-мужественным и изысканно нежным, хоть и понимает разумом, что это запрещенная игра и опасное приключение. А сине-голубые глаза спокойно и пытливо во что-то вглядываются, всматриваются, точно пьют впечатления, точно разбирают образы на элементы и вновь складывают из них свои, непонятные мне миражи...

Краем глаза я заметил, что автобус покати́л на Кирпичный, и, несмотря на краткость этого мгновения, уловил прилипшие к окошкам исступленно любопытные лица кирпичных дам.

А дальше все было просто и естественно: тесная каморка прижала нас друг к другу и заставила пропеть старую, как мир, песню. Как нам были легки и понятны и мелодия и слова! И как кстати на местной электростанции кончилось топливо, заморгал, пожелтел и пропал неуместный свет лампочки. Мы зажгли несколько свечей и долго молча сидели в полутьме. И я не мог оторвать глаз от беспокойного огонька, синевшего меж ресниц. Я пытался представить тебя маленькую, верткую среди гулкой музейной тишины, тебя, решительно шагающую от витрины к витрине, окруженную оголтелыми толпами то верещащих ребятишек из 5-го "А" класса, то задумчивых подмосковных тетей, не знающих, куда себя девать в перерывах между Гумом и Цумом, то квохчущих иностранных туристок, проживающих на старости лет сбережения, оставшиеся после смерти мужа, и потому навесивших на свои жилистые шеи золотые цепи и влезших в модные тогда джинсы. И разговор наш струился, словно и не прерывался никогда... А этот милый говор и немного небрежный московский жаргон... А утром мы пошли воровать колхозную картошку, ибо свою я не вырастил, в магазинах богучанских ее не было, а понятия "базар", "рынок" в Богучанах не существовало. Мы бродили по вязкой черно-жирной земле,

обутые в высоченные сапоги, и пытались угадать, под каким кустом картофелины уже созрели. О чем мы тогда говорили? О чем-то очень важном, о стыде, долге, обычаях, привычках... И каждая минута нашего пребывания вдвоем прибавляла новую нитку, новую связь. И жизнь твоя разделилась на две неравные части: на "там" — в Москве — и здесь — в Богучанах, а в промежутке были неправдоподобно быстрый перелет, милая семья Макса, опекавшего тебя в Красноярске... И твои посылки — полные любви и неразберихи. Я обожал получать твои посылки — и разбирать свертки, и рыться в осколках. "А это было черничное варенье..." Помнишь, раз ты даже умудрилась послать картошку: из Москвы в Сибирь!!

Ты прилетела следующей зимой. И Наар был неузнаваемо взрослый, и шерсть его стала белой, в тон заснеженным богучанским холмам. И ударил трескучий сибирский мороз. Утром мы обнаружили, что в доме нет хлеба, да и вообще с едой стало туговато. Словом, закутались, намазали щеки жиром и нырнули в густые клубы морозного тумана. Минус пятьдесят четыре! Хлеб-то мы тогда купили, но, вернувшись, обнаружили, что на наших щеках симметрично чернеют пятна: обморозились! И снова была весна, и снова чавкали сапоги и остро пахли доски и опилки на лесопилке. И мохнатые глаза подснежников смотрели на нас из-под снега...

ЭПИЛОГ

Дай мне руку. Я хочу выполнить свое старое, полузабытое обещание: побродить с тобой по Парижу и Лондону, Нью-Йорку и Амстердаму. Я не знаю, что толкает меня выполнить это обещание. Ты помнишь — мы сидели среди цыплячье-желтых досок на лесопилке, на резиновых наших сапогах мощными серо-коричневыми натеками блестела сибирская осенняя грязь, вдали дымился остывающий в старинной печи кирпич, а нам мечталось... И призрачные города, выдуманные и расцвеченные словом, кистью или кинокамерой,

плыли рядом над назойливым облаком мошкары. Пропустим, что было потом, забудем на мгновение калейдоскоп событий, размолотивших внутреннюю связь и угадывание мыслей...

Какое сочетание молекул, какой гормон погасил прошлое? Рассказать тебе сказку-быль? Дружили две гусеницы: обе были коричневые и мохнатые, ибо жили в холодном климате. Жили душа в душу и мечтали о будущих поднебесных полетах. Но вот настал день — и обе они превратились в неподвижные коричневые мешочки куколок. А затем после долгой и мрачной зимы выглянуло солнце и согрело неподвижных куколок. Развернулась и треснула оболочка, и вышли на свет они, — новые и абсолютно разные. Из одной выпорхнул серебрянокрылый мотылек, а из другой — черно-бархатная бабочка. И хотели они быть вместе и пытались, но принадлежали к разным мирам. Так и распалась их связь. Возникла она в невзгодах и тягостях, а исчезла при свете праздника и свободы.

Ну ладно, надеюсь, что все эти мысли не принесут тебе боли. Итак, дай мне руку и пойдем бродить по Нью-Йорку. Я уже здесь третий раз, и все больше и все глубже привязываюсь к этому самому городскому из всех виденных мною городов мира. Куда же тебя повести сначала? Спустимся в неглубокий нью-йоркский сабвей, то бишь по-русски — в метро. Не пугайся — здесь темновато и грязновато. Но линий очень много — в три-четыре этажа громяхают поезда. Сейчас относительно немногочленно. Посмотри, какие неожиданные и странные люди здесь. Долговязый темнокожий подросток, на безрукавке — во всю грудь — скелет, играющий в баскетбол. В левом ухе у пацана (наверное, лет пятнадцати, не больше) блестит золотая горошина.

В густую шапку волос воткнут гигантский гребень. Он мне напоминает среднеазиатские гребешки для вычесывания шерсти у коз. Гребень в волосах или в кармане джинсов — почти национальный признак здешних темнокожих. Не дай Бог назвать кого-нибудь из них негром! Только — блэк (black). "Негр" — созвучно "ниггеру", а это — слово примерно того же оттенка, что по-русски "жид".

Меня поражает обилие разных лиц у темнокожих. Тут можно увидеть и абсолютно правильные, с европейской точки зрения, черты, и карикатурно-преувеличенные негритянские расовые признаки (толстые губы, широченный приплюснутый нос, убегающий назад подбородок). Столь же разнообразен цвет: от едва желтоватого до густо-черно-фиолетового. Почти у всех (особенно молодых) — великолепные фигуры: тонкие, длинноногие, изящные удлинённые руки, но я был удивлен странностью многих мужских и женских тел: несоразмерность легкого торса и тяжелого нижнего "этажа" (угу, угу — зада). Темнокожие дамы тоже весьма разнообразны, но если брать средний тип, то они, на мой вкус, несколько мужиковаты, что особенно подчеркивает короткая курчавая шевелюра. Иногда общие очертания столь напоминают мужские, что я, только увидев приятные округлости бюста, признаю, что обознался, приняв "ее" за "него". Повторяю — это в среднем, ибо есть и женственные и сверхженственные темнокожие Мэрилин Монро, и отяжелевшие седовласые матроны, важно восседающие на скамейках в Центральном парке. Удивительна походка у темнокожих: они все время пританцовывают, ритмично раскачиваясь, словно где-то под курчавой шапкой волос звучит музыка. У многих она и впрямь звучит. Ибо здесь еще не перевелись вьюноши, таскающие на плече огромные стереомагнитофоны и радио, оружие что-то несуразно громкое и ритмичное. Говорят (опытные психологи), что это радионасилие — эквивалент протеста против экономической несостоятельности. То бишь бедности. Клише таково: "Вы, белые — богатые и потому контролируете все блага жизни, а мы, — темнокожие, — бедные, но и мы можем контролировать ваш покой, то есть нарушать вашу тишину нашей громкостью". Не знаю, сколько в этом правды, но думаю, что какое-то зерно есть. Во всяком случае, ни разу не видел белокожего подростка с этой радиопыточной бандурой на плече. Правда, темнокожие моего возраста не раз высказывали при мне возмущение, услышав ураганные ритмы, несущиеся из очередного ящика в гулком сабвее.

У некоторых молодых темнокожих — очень интересные

прически. Я видел молодых людей с шевелюрой, напоминающей черный каракуль — те же плоские затейливые завиточки и узоры. Но более всего меня поражают многочисленные тщательно заплетенные косички, уложенные правильными рядами вдоль всего скальпа. У многих эти косички образуют настоящую шапочку, по краям которой свисают украшенные яркими бусинками и сережками заплетенные локоны. Иногда это как-то по-дикарски красиво и впрямь останавливает взгляд, иногда это по-клоунски нарядно и насмешливо-зазорно. Особенно если косичками покрыта голова здорового молодца саженного роста с могучими плечами и подозрительно затуманенным взором. Не удивляйся — пьяных тут на улице почти не встретишь (пьяных в русском понимании — до потери облика), а вот одурманенных наркотиками — сколько угодно. Я как-то пожаловался моему другу-американцу (ты его заочно знаешь — это профессор Р.Т. из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна), что я не понимаю речь темнокожих. "И я не понимаю, — отвечал мой коллега. — Это особый язык и, главное, особая культура, весьма далекая от среднеамериканской".

Наверное, это преувеличение, но и впрямь то, что я видел и вижу каждый день, напоминает мне формирование особой этнической сущности внутри европееобразной американской культуры. Уже выпущен специальный словарь (очень большой!) "черного" жаргона. Интонации речи у них столь своеобразны, что даже знакомые слова становятся незнакомцами. Разница темпераментов — огромная. Даже в спокойной дружеской беседе двух темнокожих видна экзальтация — не просто улыбка, но обязательно сверхгромкий смех, не повышенный голос, но зычный крик, не жест, а возбужденная жестикуляция с хлопаньем в ладоши, закидыванием головы и т.п. Голоса все время стремятся куда-то вверх — к тенору или, вернее, к фальцету, даже у природно басовитых людей. Я уже не говорю, что звуки скользят и вытесняют друг друга: вместо "а" — "о" или "у", вместо "ш" — "с" или "ц". И можешь себе представить, сколько подстановок и изменений в понятиях. Опять же — то, что я рассказываю, касается сред-

него темнокожего. Многие из моих друзей-негров говорят на безупречном американско-английском, но при случае могут переходить на жаргон "блэков".

Должно быть, в силу полной антропологической и психологической противоположности темнокожие магнетически притягивают меня. Для моего европейского взгляда — они одна из самых ярких красок Нью-Йорка.

Да, да, конечно, если мы с тобой подвергнемся ночному нападению в сабвее, то из ста — девяносто девять процентов вероятности за то, что грабителем будет негр. Но я ненавижу отрицательные групповые обобщения (все евреи — жадные, все евреи — хорошие мужья, все русские — пьяницы, все грузины — жулики и т.п.). Что же касается преступности... Представь себе — две сотни лет назад привезли из самой африканской сердцевины людей особой и по-своему высокой цивилизации и бросили их на каторжные работы. Продажи разрушали семейные и традиционные культурные связи, а новых не возникало, ибо рабское положение резко замедляло усвоение новой культуры. В лагерях самой "прогрессивной" страны на свете я видел, как быстро дичает человек, оторванный от своей среды и семьи... Затем их освободили, уравнивали, приравнивали... Но законы страны — это лишь условия, а традиции и ассоциации в культуре создаются лишь временем. Освобождение от рабства еще в течение поколений воспринимается как освобождение от закона и социальной упорядоченности. Посмотри, ведь то же самое, хоть и в более мягкой форме произошло с североафриканскими евреями после их массового исхода в пятидесятых годах из арабских стран в Израиль. Несмотря на гигантские усилия, затраченные на их абсорбцию, кто наполняет сейчас тюрьмы нашей страны? Сефарды! И все по той же причине. В страну с господствующей атеистической европейской культурой пришли люди иной религиозной цивилизации. Их от нее "освободили". Европейские ценности — профессия или специальность, грамотность — для людей сельскохозяйственных или торговых малодоступны или недоступны, ибо нет ни традиций, ни знаний. И что же — если у старшего поколения

мораль и социальность поддерживались Верой, то у молодежи эти качества исчезли и подменились внешними признаками новой культуры: джинсами, рок-н-роллами и магнитофонами. И жаждой денег как эквивалента свободы. Вот и появились в среде евреев воры и грабители — в Израиле, о чем мечтали Жаботинский и Бен-Гурион.

Я глубоко верую, что как в Америке, так и в Израиле лишь время способно излечить раны, нанесенные трагедиями переселений и разрушения традиций. И создание новой страны представляется мне не как постройка плавильной камеры, где все должны перемешаться и дать начало чему-то новому и небывалому, а как созидание многослойного и многосложного пчелиного улья, где каждое существо равно самому себе и где каждое поколение несет свою особую функцию, где популяции и группы равны, но разделены традициями и наследием. И потому все пчелиное государство — единый неразделимый организм. Аналогия с пчелиным ульем — конечно, внешняя, но ты меня понимаешь: в здоровом теле желудок не будет красть пищу у кишок, а сердце не станет бороться из-за кислорода с мозгом!

Давай выйдем из этого довольно душного вагона, изукрашенного неаппетитными синими, черными и красными надписями и подписями. Эти, иногда чудовищные по своей форме "произведения" — называются тут изящно по-итальянски: "граффити". Их авторы — все те же малозанятые, слоняющиеся по ночам подростки из малоимущих семей Гарлема и Южного Бронкса. Это не заборные надписи, отнюдь нет! Это как размазывание цветных чернил обезьяньей рукой по беззащитной стене вагона. Полосы и иероглифы не только обезображивают, они просто вредят, так как их рисуют на планах сабвея, и беспомощные туристы или приезжие не могут найти место пересадки на другую линию. Этими "граффити" замазывают названия станций, рекламные объявления и т.п. В общем, еще одно проявление децивилизации. Для меня "граффити" — это те же орудия магнитофоны и радио: способ привлечь к себе внимание и подчинить своему контролю. Так сказать, заглушить голоса, если они не обращены ко

мне непосредственно. Вспомни, как мы однажды сидели в израильском кинотеатре и как подростки шныряли по нашим ногам: им было неинтересно происходящее на экране, а право на свободу передвижения никто отнять у них не смел. Как же нам научиться сохранять свою свободу, не ограничивая свободу других людей? А?!

Пока мы с тобой выходим, стараясь как можно скорее миновать мрачную платформу на 14-й улице, я расскажу тебе о так называемой дискриминации темнокожих, о которой прожужжали нам все уши в великой и многонациональной стране. То, что в законах никакой дискриминации нет, и она преследуется согласно конституции США — это давно известно, но теперь не только законы, но и локальные инструкции способствуют всяческому внедрению темнокожей популяции в социальную американскую ткань. Вот, к примеру, в государственных колледжах при приеме для темнокожих и пуэрториканцев установлены особые привилегии: им достаточно набрать сравнительно с белыми намного меньше баллов, чтобы быть принятыми. В нескольких случаях, когда я искал работу в медицинских колледжах США, мне приходилось заполнять анкету, где спрашивалось, не черный ли я, не гиспаник ли (то есть пуэрториканец), и пояснялось, что при прочих равных условиях эти меньшинства имеют преимущественное право при приеме на работу. Так что если дискриминация в США и существует, то с обратным знаком: для белого большинства. Конечно, частный предприниматель или хозяин может дискриминировать согласно своим вкусам, но это касается не только темнокожих, но и всякого рода пришельцев: вьетнамцев, евреев, кубинцев и т.д. Вот последний пример обратной дискриминации: в Нью-Йорке должны были состояться выборы в муниципальные органы: мэра, государственного контролера и прокурора. В последний день общественные лидеры темнокожих и пуэрториканцев подали апелляцию в суд: мол, разделение на участки для голосования незаконно и дискриминирует темнокожее меньшинство. И что же? Суд отменил выборы, а Верховный суд утвердил это решение. Так где же дискриминация?

Кстати, среди темнокожих есть расистские, я бы сказал — фашистские группы, вплоть до настоящих террористов, стреляющих в ничего не подозревающих полицейских. На стене строящегося здания на Первой авеню огромными буквами намалевано: "Черные, боритесь против превосходства белых!" И надпись существует уже давно. В газете читаю: белая учительница подала в суд на темнокожую директрису школы, обвиняя последнюю в расизме. Так что ксенофобия — вещь обоюдоострая, и семена ее страшны.

Ну-с, давай отвлечемся от "черной" темы и начнем знакомство с Нью-Йорком. Я привез тебя почти в конец Манхэттена, в так называемый нижний Манхэттен — Даун-Таун. А именно в ту его часть, которая называется Гринвич Виллидж. Нью-йоркцы любовно и коротко называют этот район — "Виллидж", то есть деревня. Немножко географии: ты, наверное, помнишь, что Нью-Йорк расположился на берегах океана, напоминая мне Петроград тем, как он использовал острова и полуострова, превратив их в районы города. Манхэттен — один из таких полуостровов, соединенных с сушей многочисленными мостами, столь же своеобразными, как мосты Парижа, Лондона или Петербурга. Нижняя или южная часть Манхэттена острым носом вдается в океан, а верхняя — северная — сливается через мосты с Бронксом — другим районом Нью-Йорка. Мы с тобой в южной части, в Деревне. И это название, очень милое и характерное, довольно точно отражает сущность этой части города. Здесь нет небоскребов. Дома словно сошли с картин Писсарро. Они разные и непохожие, хоть и прижимаются друг к другу, точно бусины в ожерелье. По американским масштабам — они сама древность (лет 100-150, не больше). И название у них особое — дома из коричневого камня. Многие из них действительно теплого глубокого красно-коричневого тона. И этот цвет придает особый уют узким, почти провинциальным улочкам Деревни. При взгляде на них, не знаю почему, возникает ассоциация — розовые дома в Ереване. Там тоже целые кварталы построены из особого розового камня. Ассоциация по противоположности впечатлений: в Ереване с его прозрачно-синим воз-

духом розовые дома парят точно пух фламинго над темными водами, а тут в Виллидж красно-коричневые (браун-стоун) дома, точно вылепленные из шоколадного крема, прочно вросли в скалистую землю на берегу океана.

Дома невысокие — три-четыре, от силы пять этажей. Высокие трельяжи французских окон, высоченные потолки. Подъезды с высоким многоступенчатым крыльцом, украшенным витой вязью перил. Зеркальные стекла не мешают разглядывать антикварные бронзовые лампионы, барочную мебель, камины. Я люблю бродить в этой удивительной европейской атмосфере, воссозданной здесь новым поколением ультрасовременных американцев. Ибо насельники этих домов, как правило, интеллигентские сливки Нью-Йорка — писатели, художники, актеры... Дома увиты плющом, виноградом. Заплетенные боскеты наполнены невиданно красивыми растениями. Особенно хороши большие, как лопухи, листья с красно-розовой сетью жил. Густые кроны деревьев создают таинственные тенистые аркады. Малолюдно. Только выстроившиеся в ряд автомобили, загромождающие улицы, напоминают, что я нахожусь в этом столетии.

Нет, это не Париж, не Амстердам и не Гаага, но люди, воссоздавшие эту атмосферу, принадлежат европейской, наиболее близкой нам культуре. И мне бесконечно хорошо и спокойно оттого, что существует она здесь, в городе городов. Как и в остальном Манхэттене, здесь есть нумерованные улицы и авеню, но планировка потеряла свою геометрическую правильность, и на удобную, но унылую сетку наложилась иная, прихотливая вязь улиц со своим лицом и особыми названиями: Бетюн стрит, Спринг стрит, Делэнси, Хьюстон стрит, Гамильтон, Канал стрит и легендарная Кристофер стрит. Почему легендарная? Признанная столица мира людей с иной, не традиционной сексуальностью. Я покажу тебе эту улицу потом, и мы еще побеседуем на щекотливую тему о гомосексуальности, а пока давай зайдём в пиано-бар (отнюдь не пьяно-бар!). Я почему-то привязался именно к этому месту, хотя в Виллидж полным-полно этих милых полуподвальных или подвальных местечек. Иногда довольно обширных, а вот

этот — мой бар — на углу Гамильтон и Восьмой авеню — очень маленький. Спускаешься на несколько ступенек и попадаешь в темноватый залчик, освещенный свечными огарками с трепыхающимся пламенем внутри рубиново-красных бокалов. За высокой стойкой хозяйничают совсем молоденькие девицы. По разговорам я выяснил, что они студентки театрального колледжа Нью-Йоркского университета. Здесь это очень принято: зарабатывать на высшее образование, служа в ресторанах и барах. В той части Манхэттена, где я живу, есть милый и дешевый ресторанчик, где все служители — студенты и студентки балетной студии. Очень люблю я ходить в это заведение: все такие тонкие, стройные и до боли молодые.

Так о чем же это я? А, мы же в моем баре. В глубине его у самой стены притаилось пианино, отделенное от остальной части зала еще одной стойкой, за которой на высоких табуретах обычно сидят всего два-три человека. В баре две стойки: одна — где можно выпить, а другая — где можно заказать любимый напев или мотив. Видишь, нам тотчас принесли мой напиток: джин с тоником. Алкоголя почти нет, а сам напиток пахнет полевой, заросшей можжевельником, и чуть-чуть горчит.

Давай будем тихо и неторопливо прикладываться к соломинке и слушать. Откуда-то из боковой дверки выходит большелобая кудряво-седая негритянка. Обрати внимание на ее удивительное утонченное лицо, украшенное тонкими ветвистыми морщинами. Оно немножко декадентское, бальмонтовское или даже вертинское. Она с трудом передвигается, опираясь на костыль, усаживается за рояль, быстро перекидывается парой слов с посетителями, сидящими вокруг нее за "музыкальной" стойкой, и начинает трогать клавиши. Вроде бы не в склад и не в лад, а вот возникает настроение — чуть грустное, но светлое, чистое. Потом появляется ее голос. Низкий, надтреснутый, он выводит что-то бесконечно знакомое и вечное: о Любви, о Разлуке, о Несбывшемся...

Голос ее, только что бывший хриловатым и больным, постепенно крепчает, поднимается до самых высоких фальцетных нот — и вдруг раскатывается самой настоящей джазовой

колоратурой. Почти Элла Фицджеральд... Кто-то из посетителей просит ее напеть какую-то всем известную мелодию. Бар, как ты видишь, теперь почти полон. Плотной толпой вокруг музыкальной стойки стоят люди — самые разные: черные и белые, чопорно одетые старички и старушки и хипповатые молодые люди и девицы. Но мелодия всем знакома, и все без исключения начинают петь и хлопать в такт. Ну, и мы хлопаем, конечно. Хотя и не знакома нам эта песня. Хорошо мне тут. Хорошо чувствовать, что у всех у нас вне зависимости от предыстории и культуры есть общая тоска и привязанность к скромным, почти незаметным краскам жизни...

Допит наш джин, допета мелодия. Положим в прозрачную копилку, что стоит на пианино, по доллару и пойдем бродить дальше.

Вдоль узких улочек Деревни пойдем на запад — к Гудзоновой реке. Над самым ее берегом нависла шумливая линия сабвея. Тихая спокойная вода. Вдали синеют кварталы другого города — Нью-Джерси. Это даже и штат другой. А мы с тобой в Нью-Йорке, на берегу Гудзоновой речки. Иногда я щиплю себя: это не сон? Прожить до сорока лет в тюремной коммунистической, отсидеть шесть лет в лагере и ссылке и вот стоять тут у старой деревянной баржи, на окраине Нью-Йорка... На берегу по довольно ветхой деревянной пристани прогуливаются группами и в одиночку странноватые, на первый взгляд, личности. Молодые или желающие ими выглядеть. Очень разные лица, стиль причесок, одежда... Но на всей этой гуляющей или беззаботно усевшейся толпе наложена некая печать своеобычности. Трудно это выразить в слове, пожалуй, вернее всего подойдет: "эпатирование" (или, менее изящно, — выпендривание). Юноша с очень тонким одухотворенным лицом; половина стоящих дыбом (буквально) волос иссиня-черная, другая половина — розовая. Непонятное в смысле половой принадлежности существо — в плавках с явно выступающими мужскими ценностями и большой, почти как у Софи Лорен, грудью...

Мужчины, обнаженные по пояс или в странных рубашках с оторванными рукавами. Короткая боксерская стрижка, вы-

пирающие во все стороны мышцы, усы в стиле конца века — все подчеркивает мужественность, стремится повергнуть наблюдателя в страх и убедить во всамделишности этих ”махов”. Но... как и всякий нажим, переигрывание вызывает лишь сомнение и любопытство. Иногда эти сверхмужчины теряют на мгновение контроль над своими движениями и жестами в эмоциональной беседе, и тогда стремительно всплывает на поверхность изящная женственность и мягкость поз и речи, кокетливый взгляд, сверхвыпрямленная спина — и супермужчина внезапно становится неотъемлемой частью этой толпы. Опустив ступни в теплую, спокойную воду, спиной к публике сидит юноша с соломенно-обесцвеченной шевелюрой. К его плечу прижалась курчавая темнокожая голова с лицом, украшенным испанскими усами. Сплетенные кисти рук. Любовники — ничего не поделаешь. Группа очень молодых пацанят. Волосы у большинства поддерживает яркая повязка а ля Бьерн Борг, делающая их похожими на официанток из московских кафе. Большинство носит зелено-коричневую одежду военных десантников. Мода! Но один из этой группы обрядился в кожаные, тесно охватывающие ноги и таз брюки, такую же черную кожаную жилетку, одетую прямо на голое тело, и многочисленные цепи, свисающие из всех карманов и покрывающие ожерельем ребристую худую грудь. На шее у него настоящий ошейник, как у крупного пса, с торчащими во все стороны металлическими шипами. И такие же браслеты на руках. Когда это существо, гремя цепями, оборачивается, ты замечаешь, что с тылу его кожаные штаны украшены глубоким декольте, так что обе выпуклости нижнего бюста могут получать свою порцию чистого морского воздуха. Я понимаю, что с непривычки тебя охватывает легкая оторопь: даже для все разрешающего и прощающего Нью-Йорка голый, выставленный на всеобщее обозрение зад — не частое зрелище.

Все, что мы с тобой здесь видим, — это крайняя, почти запредельная часть большого людского сообщества, для которого в русском языке нет неоскорбительного прозвища или обозначения. Гомосексуалисты, педерасты — на наречии

медицинском и относительно вежливом; мужеложники — на языке советских законоведов; пидорасы, пидоры — в просторечии. И все эти названия и термины выражают разную степень отвращения и неприятия — от легкого брезгливого научного любопытства и даже снисходительного сочувствия до зоологической ненависти и обезьяньей ксенофобии. Но оставим это, ибо самое "прогрессивное" общество светлого коммунистического идеала давно пребывает в средневековом состоянии всеобщей нетерпимости и ненависти к иному, нестандартному. Здесь, в Америке, есть и ксенофобия и даже нетерпимость, и, более того, иногда агрессивность и насилие по отношению к разного рода меньшинствам (в том числе и к сексуальному, то есть к гомосексуалистам), но все это на ином, я бы сказал частном, личностном уровне, но нет нетерпимости, поощряемой государством и его мозговым трестом. И действительно, если подумать: почему гормональное изменение, расстройство или предельный вариант нормы должны преследоваться и осуждаться? Здешнее общество (по крайней мере, наиболее думающая его часть) справедливо рассудило, что нельзя объявлять преступниками от пяти до десяти процентов всей популяции только потому, что эти люди сексуально не стандартны. Кстати, Всемирная организация психиатров изъяла гомосексуализм из патологической номенклатуры и рассматривает его как один из вариантов сексуальной ориентации, по-видимому обусловленной наследственно.

Тут нельзя быть очень уверенным, но сексуальная направленность, как показывают всякие психофизиологические исследования, определяется очень рано, на самой первой ступени развития ребенка (до шести лет, во всяком случае). Так что чего уж тут обвинять, скорее нужно понимать и сочувствовать. А, впрочем, почему сочувствовать? В Америке многие гомосексуалисты открыто заявляют о своей принадлежности к меньшинству и живут полноценной общественной и творческой жизнью, не тратя душевных сил для сокрытия своей истинной природы. Их здесь и не называют гомосексуалистами, а используют самообозначение — "веселые" люди (gay). Да, конечно, подавляющее их большинство старается

не демонстрировать свои вкусы, но в общем нормальные люди из сексуального (гетеросексуального) большинства их тоже не демонстрируют. Гей-люди (давай будем их так называть — все-таки благозвучнее, чем "педераст") живут во всех частях Нью-Йорка, но многие из них предпочитают Виллидж, может быть, потому, что среди "гей" очень много артистов, художников и прочей творческой публики. Помнишь, еще в Сибири мы с тобой говорили о связи признаков: тяжелые ветвистые рога у оленя должны сочетаться с не менее прочным черепом, сильными мышцами шеи и т.п. Эта связь, так сказать, прямая, очевидная, но вот есть и другие группы признаков: кошки-альбиносы — обязательно все мужского пола, глаза у них голубые и отсутствует знаменитый кошачий слух, проще — они глухие. Почему-то думается об этом, глядя на эту пеструю толпу гей-ребят и девиц здесь на набережной Гудзоновой реки. Нестандартная сексуальность — конечно, связана с другими, и социальными, и биологическими признаками этих людей. Наверное, творчество многих из них — это тоже своеобразные "рога" или "голубые глаза".

Текучая, ранимая, непостоянная душа этих людей — богатая почва для фантазии, воображения, выдумки. Это факт, что молодежные моды в Америке (а потом и во всем мире) определяются вкусами вот этих своеобразных существ на набережной. К примеру, сейчас в Нью-Йорке очень принято расхаживать по улицам в спортивных туфлях на босу ногу и безрукавках (тут их называют Т-рубашки). Ввели эту моду гей-люди. Я уж не говорю о музыкальных модах. Продюсеры популярной музыки специально собирают молодежную гей-аудиторию и дают ей прослушать новинки будущего сезона. По реакции именно этой толпы отбираются музыкальные боевики, которым дается реклама — и миллионные гонорары исполнителям. Как и любое меньшинство, гей-люди имеют свои клубы, свои бары, свои театральные труппы. И свои "группы давления", в том числе и в конгрессе. И как во всякой группе в нормальном демократическом обществе, тут есть свои группки, подгруппки и неисчислимые варианты отношения к жизни.

Каждый год в Гринвич Виллидж открывается так называемый Парад гей-гордости. Вдоль Кристофер стрит, о которой я тебе уже говорил, собирается длинная колонна людей, одетых и раздетых на самый разнообразный манер: тут и хор Нью-Йорка, и общество гей-христиан, и представители гей-синагог всей Америки, и общество родителей, у которых гей-дети. Разнообразные спортивные клубы, рестораны, диско выставляют своих музыкантов и танцоров. Если попасть в Виллидж в этот день, то можно подумать, что весь Нью-Йорк — гей-город.

И вот все это поющее и танцующее, шагающее и голосащее приходит в движение, а во главе — представители городской администрации, иногда и сам мэр Коч со знаменем Нью-Йорка и кавалькадой конной полиции вокруг. Вдоль всех обычно "парадных" улиц колонна движется к Центральному парку, где произносятся речи, призывающие к единению и клеймящие преследования. Словом, все, как у других меньшинств этого великого и благословенного, беспощадного и страшного, всепринимającego и преследующего демократического общества.

Конечно, все это: и парады, и терпимость большинства, и закон против дискриминации под любым предлогом: расовым, национальным, возрастным или сексуальным не возникли просто так, без борьбы. Были и полицейские облавы на гей-бары в шестидесятых, и выбрасывание с работы по этому признаку, и прочее. Но в том-то и отличие демократии от остальных (я бы сказал, душедавательных) режимов, что тут есть возможность бороться и за создание своей собственной ниши, и занимать ее, не мешая остальным меньшинствам и большинствам заниматься своим делом. Как-то на стене одного из зданий я видел шутивную надпись: "Я ненавижу негров, евреев, пуэрториканцев, итальянцев, ирландцев, немцев, гей, греков, русских, слепых, немых, но больше всего на свете я ненавижу предрассудки!"

Ну что ж, давай двигаться дальше! Из западной части Виллиджа мы пойдем на восток, по направлению к Восточной реке (Ист-ривер), и через Восточную Деревню попадем

с тобой в один из самых интересных районов нижнего города — в Сохо. Мы прошли с тобой всего несколько кварталов, миновав Восточную Деревню, но какая разница! Высокие, восьми-десятиэтажные мрачные строения, нависающие над узкими улочками. Почти нет зелени. Словом, здесь пахнет индустрией, потом и унылым трудом. Но это лишь внешняя видимость. Сохо, действительно, бывший фабричный район. До сих пор на зданиях видны полустертые надписи: "Фабрика нижнего белья", "Производство и доставка лучшей обуви" и т.п. Но вся эта "трудовая история" — в прошлом. В шестидесятых годах заброшенные, начавшие деградировать кварталы Сохо открыли для себя художники и артисты. Они начали занимать бывшие цеха фабрик и превращать их неуютные конструкции в студии и театральные залы, рестораны и кафе. В американско-английском языке появилось даже специальное выражение, обозначающее это переоборудование нежилого помещения в уютную квартиру необъятной площади: "аренда чердака". Как правило, бывшие фабрики были многоэтажными, и каждый этаж состоял из нескольких больших помещений. Так что новые хозяева получали часть такого "чердака" и перегораживали его по своему вкусу. До сих пор в Сохо и в Виллидж можно снять "чердак" и переоборудовать его, но сейчас это стоит многие тысячи долларов, так как и Виллидж и Сохо стали модными районами Нью-Йорка.

Итак, мы с тобой в Сохо — своеобразном Монмартре, обиталище людей свободных профессий. Больше всего я обожаю бродить по Сохо в будничные день, когда его грязноватые улицы еще пусты и нет глазающей толпы туристов, столь обычной в Сохо в уикэнд. Маленькие кафе с дешевой, но добротной пищей. И занимательные лица людей, наполняющие эти кафе. Посмотри на эту даму в бесформенном сером балахоне, нечто вроде мешка с дырами для головы и рук. Она неторопливо глотает свой кофе, а рядом около стула возлежит огромный сенбернар с голубым бантом на шее. В ногах у дамы — нечто вроде авоськи с мятыми металлическими банками и пластмассовыми коробками. Я не раз видел ее (даму, конечно), копающейся в мусорных уличных корзинах.

ках и выуживающей оттуда все эти сокровища. Нет, она не "мусорщица" ("джанки" — это особая категория людей), а художница-скульптор. Все эти банки и склянки — ее исходный материал для милых и наивных поделок: ветряных мельниц, силуэтных Дон-Кихотов, автомобилей начала века... Маленький японец или вьетнамец беседует неподалеку с голубоглазым, очень светлым скандинавом в рваных шортах, но очень белой рубашке с галстуком-бабочкой. По отрывкам долетающих слов выуживаю смысл разговора — речь идет о чем-то очень профессионально-художественном: о валерах, нервной линии рисунка, "пятнах цветового ужаса". Очень толстый пожилой господин что-то неторопливо черкает в своем блокноте, а на столике лежит груда потрепанных книжек... Не знаю, как для тебя, но мне вся эта атмосфера очень близка и знакома. Помнишь, мы с тобой как-то говорили, что самое противное в эмиграции — это чувство непричастности к происходящему, отчужденности от текущей жизни. Здесь в Сохо, в Виллидж это ощущение исчезает. Я понимаю этих людей, я сочувствую их мыслям и судьбам. Ведь они, как и я — нечто лишнее, нечто избыточное по отношению к остальным, прочно стоящим на земле людям. Кто Мы? Эфемериды, ищущие прекрасное в обыденном уродстве, находящие цвет и линию в мятой консервной банке, мелодию в одиноких звуках шагов, драму в одном произнесенном или непроизнесенном слове...

Галереи Сохо... Их тут тьма. Роскошные с зеркальными витринами и солидными экспозициями классиков: Пикассо, Матисс, Сезан, импрессионисты. И совсем маленькие, в тесных комнатках, заваленных многочисленными эскизами, эстампами... Ты, конечно, жаждешь узнать, где и как бьется пульс современной художественной мысли. Наверное, я не смогу тебе ответить, употребив соответствующий "изм". В галереях можно видеть все: от добротного выписанного маслом реализма и, более того, фотографического натурализма до цветных прямоугольников в стиле Ротко (просто и ясно: на зеленом фоне фиолетовый квадрат, на красном — коричневый и т.п.). Но есть во всем этом многообразии одно при-

сущее всем: погоня за оригинальной, неповторимой техникой. Меня водил и возил по Сохо один малознакомый и очень симпатичный иудей в кипе. Его торговая марка — изображение облупленных стен. То есть не изображение, а воспроизведение до полного сходства и иллюзии. Не знаю, как назвать его произведения, — наверное, плоские скульптуры, что ли? Это огромные (2х3 или 4х5 метров!) куски стен, вставленные в золоченые рамы. Невольно вспомнил о твоей фреске из монастыря (Ферапонтова?). Техника воспроизведения этих стен необычайно сложна, но смотришь — и, как это ни странно, ощущаешь красоту в узоре трещин, в фактуре известки, в особом серо-бело-коричневом сочетании колеров. И дело не только в чисто зрительном восприятии, но и в ассоциации: старые стены — история, прошлое, глядящее на нас сквозь забытые стены...

В одной из галерей, где на стенах теснятся всевозможные сочетания гипса и коллажа, акриловых красок и пастели, посреди зала я увидел уборщицу с пылесосом, метелками и тележкой со всевозможными мылами и жидкостями для чистки и мойки. Уборщица была погружена в некое раздумье, ее взгляд, расфокусированный и спокойный, рассматривал что-то позади картин и скульптур. Мне невольно пришла на ум мысль о благотворном влиянии искусства на простые души, и еще другая — завистливая: о нирване и отсутствии суеты в жизни этой негритянки, сметающей пыль, принесенную нашими подошвами в залы музея. Присмотревшись, я заметил, что дама с пылесосом не только лишена движения, но она просто не дышит. Словом, она оказалась еще одним сверхреальным произведением искусства. И удивительно, что автор избежал навевающей ужас натуральности восковых фигур и карикатурности манекенов...

Ну, давай двигаться дальше. В Нью-Йорке смешались все географические понятия и соотношения. К востоку от Сохо и Виллиджа бок о бок расположились Европа и Азия: два конца мира соединились на маленьком кусочке американской земли. Мы с тобой сейчас в Италии. Понятно, что здесь ее называют "Маленькой Италией": это всего несколько

улиц, как бы перенесенных из провинциального итальянского городка. Трех-четырёхэтажные дома с лепными барельефами и лоджиями в римском стиле, небольшие церковки: Сан-Паоло, Сан-Винченцо. Столики выбежали из тесных тратторий и пицерий на тротуары. На всех углах звучит итальянская, вернее, неаполитанская музыка. Обитатели показывают с гордостью ресторанчик, где был пристрелен Крестный Отец — знаменитый глава итальянской мафии. Помнишь фильм с Брандо?

В лавочках "итальянские" мраморы: слепки и плохие копии римских и греческих скульптур, но лучшие кофе и пиццу можно найти именно здесь.

Нью-йоркцы обожают так называемые "фестивали". Мы с тобой сейчас на итальянском фестивале в честь святого Януария (Сан-Дженаро, по-здешнему). По обеим сторонам одной из улиц (в данном случае той, где расположена церковь Сан-Дженаро) разместились многочисленные прилавки, лавочки, будочки, где можно купить почти все: от шляпной шпильки до плетеной мебели и антикварной бронзы. Это и есть "фестиваль" — большой толкучий рынок. Но краски ему придают маленькие эстрады, где поют и пляшут итальянцы или испанцы, или индусы, или евреи: все зависит от того, на какой улице происходит вся эта милая, толкучая распродажа. И еще еда — это особая примета "фестиваля". Здесь на Сан-Дженаро мы можем попробовать домашнее спагетти, на латино-американском фестивале — причудливую смесь морской живности — пазлья, на немецком — все виды сосисок и колбас...

Весной тут был специальный фестиваль национальной кухни. Чего там только не было! Вплоть до китайских ласточкиных гнезд и тухлых утиных яиц и "настоящего" Бургоньи, из Сан-Франциско, конечно. На одном из фестивалей за доллар можно было получить смачный поцелуй красивой негритянки или японки — на выбор. У прилавка стояла очередь — в основном лысоватых и толстоватых мужиков, и каждый затяжной поцелуй сопровождался веселым улюлюканьем веселящейся толпы. И никакой чувственностью не пахло, было просто всеобщее насмешливое веселье ("фан", как говорят мои друзья).

На каждом фестивале очень много возможностей обогатиться: платишь доллар и начинаешь играть в своеобразную рулетку. Огромные тарахтящие колеса крутятся и останавливаются против той цифры, которая кому-то приносит "счастье": 25-30 долларов. А рядом разнообразные лавочки, где, уплатив все тот же доллар, можно выиграть чудовищных размеров пантеру, набитую поролоном, или белоснежного сказочного единорога. Нужно только быть немножко везучим и попасть в воздушный шарик, метнув крохотную иголку. Шарик лопается, и ты уходишь, унося слоноподобного Микки Мауса или многометрового тряпчного питона. Да, шарик лопается, и ты остаешься с безумных размеров тряпочно-пластмассовой игрушкой...

Нет, это не рецидив советской брезгливости, просто мне никогда не везет. Может быть, я не прав, но эти игры на везение, на вероятность тоже одна из примет здешней жизни, столь непохожей на советско-муштровую систему. Там в тюрьме коммунистического, развитого, и к тому же социалистического общества, случайность — незаконная дочь всепроникающей закономерности: если кирпич упадет тебе на голову, то эта случайность обусловлена и направлена закономерностью: либо плохой управдом не ремонтирует здание, либо верная рука КГБ решила тебя наказать. Здесь случайность, везение — часть бытия. Я называю это синдерелизмом (Синдерелла — Золушка): ведь нужно же придать некую наукообразность этому явлению. Тысячи и тысячи людей играют со случайностью, с везением и один из миллиона играющих выигрывает. Конечно, вокруг этой веры в случайность и везение крутится целая промышленность: телевизионные рекламы и игры полны взвизгивающих от восторга дам, уносящих выигрышный билет или чек, газеты пытаются поддержать свои тиражи за счет разного рода лотерей: Бинго, Зинго (чтобы играть, нужно покупать эту газету каждодневно). Пищевые забегадки типа Мак-Дональд или Бургер Кинг, супермаркеты — все стараются использовать эту веру в случай и всучить свой товар. Нет, это не жульничество: кто действительно выигрывает, но большинство живет надеж-

дой. Плохо ли это? Не знаю. Наверное, не плохо. Если ты живешь мерной каждодневностью, получая зное количество долларов в неделю, то почему бы не придать жизни немного романтики, почему бы не позолотить ее сказкой? И почему бы не поиграть в Золушку и Принца?

Кроме фестивалей, есть еще одна примета нью-йоркской жизни: парады. Всякого нормального бывшего Гомо советикус при слове "парад" или "демонстрация" охватывает тихий ужас. Мне, например, видится толпа обалдевших от толкотни граждан, украшенных бумажными цветами, напряженно улыбающихся и торопливо пробегающих мимо мавзолея под недремлющим оком кагебешников в гражданском, что стройными рядами разделяют колонны ликующих и прославляющих. Или: рычащие и ворчащие машины с маскообразными "черными беретами" и акулы тела ракет, начиненных всемирной смертью. А на мавзолее — жирные складки многочисленных подбородков под одинаковыми серыми шляпами и мишура орденов на выпирающих из-под мундиров животах и грудях.

Здесь, в Нью-Йорке, "парад" — нечто совершенно и противоположно иное. Во-первых, нет или почти нет (на мой взгляд) полиции. Разве что регулировщики движения да немногочисленные наряды, не дающие толпе любопытных и экспансивных нью-йоркцев занимать мостовую, где проходит парад. Во-вторых, непринужденность и самодеятельная организация этих шествий. О гей-параде я уже рассказывал. Вот, к примеру, другой ежегодный парад — латино-американцев. Вдоль Пятой авеню, что протянулась почти на весь Манхэттен, повисли огромные воздушные шары. Еще немного — и, кажется, вся улица и вся гомонящая испаноязычная толпа взлетят в поднебесье. Идут разные страны по альфавиту: Аргентина, Боливия и так далее вплоть до Пуэрто-Рико и Уругвая. Каждая небольшая колонна — кусочек фольклора или же реклама какой-нибудь известной фирмы, или просто группа чинно шествующих членов какого-нибудь национального клуба. В открытом кузове машины стоит загорелый Колумб в сопровождении кого-то, столь же

живописно одетого, в перьях и латах. Колумбова группа полна серьезности и приветствуется явно озорными и неприличными эпитетами. Но вот знакомая "парадного" Колумба подбегает к машине и что-то говорит — вся группа в перьях и латах немедленно теряет свою официальность и весело смеется и тараторит, а женщина предлагает "открывателям Америки" какую-то снедь, и все тут же начинают ее жевать. Вот это и есть "парад". Парад самовыражения и веселья, парад организованной неорганизованности, парад озорства и национальной гордости. Гарцуют на лошадях неправдоподобно красивые мексиканцы и мексиканки, на огромной террасе с колоннами, что движется среди цветов, вытанцовывают фламенко испанские махо и махи, дудят в огромные деревянные дудки перуанцы в смешных вязаных колпаках, а вокруг голосящая толпа, узнающая своих знакомых и приветствующая свои обычаи.

Давай выбираться из шумной, бурливой испаноязычной толпы. Мне хочется показать тебе северо-западную часть Манхэттена. Спускаемся в сабвей и долго и нудно ждем поезда "А".

В Нью-Йорке довольно трудно ориентироваться в подземных маршрутах. Одно я усвоил: если поезд обозначен одной буквой (А, В или С) — это поезд-экспресс. То бишь он останавливается только на больших узловых станциях. Если на оконных стеклах поезда стоит двойная буква (АА, ВВ и т.п.) — это означает, что поезд — местный, то есть он следует по тому же маршруту, но останавливается через каждый десяток кварталов.

Итак, ввинчиваемся в толпу, упакованную в вагонную коробку. Толпа — многоцветная, но преобладают "меньшинства" (майнорити), как тут принято вежливо и официально называть негров и пуэрториканцев. Не могу тебе объяснить кривую логику — почему двадцать пять миллионов негров являются меньшинством, а восемь миллионов евреев или мизерное количество японцев не входят в это понятие. Скорее всего, этот термин — майнорити — замаскированное обозначение проблемной части американского народа. Так сказать,

меньший брат — культурно-эмоционально-материально — иной, и чего уж тут замазывать — нуждающийся в постоянной опеке и заботе. Я уже тебе говорил, что под влиянием левых радикальных интеллектуалов, обуреваемых комплексом вины перед "несчастенькими" поработенными неграми, политика официальных властей по отношению к "меньшинствам" напоминает политику большевиков по отношению к узбекам, казахам, эскимосам и прочим советским братьям. Более того, вспоминаются времена "выдвиженцев" по социальному происхождению. "Мы тебя, Маша, "от станка", министром культуры выдвинем, потому как ты пролетариат и отец у тебя водовозом при царизме был, а мать землю пахала!"

Примерно то же самое тут: неважно, кто ты и что ты с деловой точки зрения, а важно, что цвет кожи у тебя коричневый. И если так, то ты угнетаемый и потому имеешь всяческие привилегии по сравнению с белыми эксплуататорами. И совсем неважно, что "эксплуататор" — из очень бедной семьи, бьющейся из последних сил, чтобы дать хорошее образование своему сыну или дочери. Ну, ладно, это так, между прочим. Мелькают станции — прошло всего пятнадцать минут, и мы из центра города, от площади Колумба добрались до 168-й улицы — почти сто блоков, то есть кварталов.

Еще двадцать блоков — и в вагоне происходит удивительная метаморфоза: исчезает темнокожий элемент, и на нас смотрят знакомые семитские физиономии, причем не просто семитские, а "те" типичные еврейские лица из местечек Белоруссии и Украины. Нас выносит на поверхность огромный лифт, заполненный жителями "Вашингтонских высот". Я смотрю на эти низкорослые фигуры, на лица под фетровыми шляпами. Большинству — далеко за шестьдесят. Дамы в потертых меховых мантиях... В этой части Нью-Йорка прижились остатки немецких евреев, избежавшие уничтожения в печах и лагерях. Сюда, на спокойные, заросшие буками и диким виноградом холмы Вашингтонских высот перенесли они быт и речь старой гетевско-бетховенской Германии... Удивительна эмигрантская наша судьба: ненавидимые "исконными" обита-

телями, мы — потомки беспокойных странников — Авраама и Исаака, Якова и Моше — уносим в новое изгнание и сохраняем язык и культуру тех, кто изгоняет и преследует нас, и на новом, постепенно обживаемом месте нас называют "немцами", "русскими", "грузинами" и даже "арабами"...

В небольшом скверике около моего дома стерильно вымытая и причесанная дама в возрасте где-то между 70-ю и 80-ю разговаривает со столь же аккуратно причесанной и убранной немецкой овчаркой. Я вздрагиваю, слыша корябые звуки ее элегантно немецкой речи. Уж очень навязчивы и страшны ассоциации: "Хайль, хальт, юде..." Мы думаем и общаемся с помощью клише, а эта дама наверняка побывала в Аушвице, то есть в Освенциме.

Друзья подарили мне добротный комод. Подарили, потому что бывшая владелица, жившая неподалеку от меня, отошла в мир иной и не оставила никого, кто бы хранил старые почерневшие от времени и пыли кресла, зеркальные буфеты, причудливые ламповые канделябры. Комод приехал ко мне и был внесен мускулистыми молодцами одной из перевозно-переносных компаний со смешным названием "Хорошие еврейские парни". Я открыл один из ящиков. Аккуратно перевязанные пачки писем со штемпелями-свастиками, знакомое нахальное лицо фюрера на марках, а в потертом портмоне — две черно-желтые нарукавные повязки да две желтые Давидовы звезды...

Глядя на эти бумажные и матерчатые знаки прошлого, я понял, что объединяет нас — меня, теперь "русского", и ее, заснувшую навеки "немку": жизнь среди народов, до боли близких и неистребимо чужих, среди кликушеских исторических наветов, одинаковых не только по существу, но даже по своей форме для всех этих "режимов" — будь то фашизм, коммунизм или прочий право-левый "изм". Нас — ее и меня — стягивают и роднят те же клички и те же клише: "космополит", "сионист-империалист", "неариец", "бей жи-дов — спасай Россию", "Германия — превыше всего". Но мы думаем и поем на языке ненавидящих и выталкивающих нас,

мы уносим в другие страны их обычаи и сказки, мы объединяем необъединяемое — индусские танцы и русские блины, невские белые ночи и мощные закоулки Мюнхена, раскаленный песок Марокко и холодные бризы Балтики. Может, это и есть наше предназначение?! Может быть, для этого рассеял и изгнал нас Господь? И избрал нас — быть нитью, соединяющей народы земли.

1981—1983

Нью-Йорк

Автор этой книги — Ел.Глез (Илья Глезер) — по профессии и по призванию отнюдь не писатель, а биолог. Его работы по исследованию строения нервной системы получили международное признание. Большую часть своей жизни автор провел в Москве, хотя формально он по рождению харьковчанин. До определенного момента его жизнь ничем не отличалась от жизни миллионов советских людей. Но в 60-х годах в его жизни произошел перелом, ему опротивела ложь "развитого социализма" и "приближающегося коммунизма", и он стал искать свой собственный путь. Он нашел его в национальном возрождении еврейского народа. Стал серьезно заниматься еврейской историей, ивритом, Торой. Ну и, конечно, не смог больше философски спокойно переносить организованную антисемитскую травлю, развязанную еще во времена черносотенных 50-х и с успехом продолжающуюся и поныне. За одиннадцать писем, направленных в разные высокие инстанции (вплоть до покойных Брежнева, Подгорного и Косыгина) он был приговорен к шести годам, кои и отсидел (три в лагере № 17 в Мордовии и три в ссылке в Сибири). Плодом этих шести лет и является эта книжка. Свои воспоминания автор облек в художественную форму, для того чтобы рельефнее и ярче воспроизвести атмосферу, в которой он существовал шесть лет. И еще — выплеснуть на бумагу боль свою и тех, кто продолжает нелегкий путь сквозь тюрьмы, лагеря и ссылки коммунистической Советии.

